

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

ОЛЬГА КРОМЕР

# ТОТ ГОРОД

НЕИСТОРИЧЕСКИЙ  
РОМАН

# Ольга Кромер

## Тот Город

### Серия «Неисторический роман»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=64697266](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64697266)*

*Тот Город: АСТ; Москва; 2022*

*ISBN 978-5-17-146174-4*

### Аннотация

«Тот Город» – история о том, как легенды помогают выжить.

Как тайное место посреди тайги, свободное от всех режимов, спасло не только людей, отважившихся на побег из ГУЛАГа, но и тех, кто решил остаться и просто жить.

«Нам внушали десятилетиями, что мы живём в самой счастливой на свете стране. Я не буду вас переубеждать. И не прошу вас думать, как я. Прошу просто думать».

*Ольга Кромер*

«Это не фантастика, не антиутопия и не фантасмагория. И даже не исторический роман. “Тот Город” – пронзительная драма, болезненно актуальная сегодня».

*Юлия Гумен, литературный агент*

# Содержание

Пролог	6
Глава первая	11
1	11
2	21
3	32
Первая интерлюдия	44
Глава вторая	49
1	49
2	63
3	73
Вторая интерлюдия	86
Глава третья	91
1	91
2	100
3	111
Третья интерлюдия	120
Глава четвёртая	125
1	125
2	137
3	147
Четвёртая интерлюдия	158
Конец ознакомительного фрагмента.	164



# Ольга Кромер

## Тот Город

*Куда спокойней раз поверить,  
Чем жить и мыслить каждый день.  
Так бойтесь тех, в ком дух железный,  
Кто преградил сомненьям путь,  
В чьём сердце страх увидеть бездну  
Сильней, чем страх в неё шагнуть.  
Наум Коржавин*

*Медленность, сбивчивость исторического хода*

*нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других... Всякая попытка обойти, перескочить сразу – от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью – приведёт к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к... поражениям.*

*Александр Герцен*

*Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы – это честность.*

*Альбер Камю*

Издательство благодарит литературное агентство «Banke, Goumen & Smirnova» за содействие в приобретении прав

© Кромер О. М.

© ООО «Издательство АСТ»

# Пролог

Мы шли уже семь с лишним часов почти без передышки. Я тащился, шаркая лыжами, как большими галошами, Корнеев с раздражающей лёгкостью скользил впереди, а ведь ему приходилось куда труднее, чем мне, – он прокладывал лыжню. Время от времени он прибавлял ходу и исчезал из виду. Заблудиться я не боялся, чёткая корнеевская лыжня выделялась даже в сумерках, но всё равно становилось не по себе. Подбитые камусом<sup>1</sup> лыжи катились совершенно бесшумно, беззвучно падал лишённый запаха снег со случайно задетой ветки, тёмные, почти чёрные на снежном фоне деревья стояли неподвижным ровным строем, серовато-розовое закатное небо стремительно темнело, и мир делался условным, плоским, словно старинная чёрно-белая гравюра. Потом Корнеев возвращался, вдруг выныривал откуда-нибудь сбоку, говорил, посмеиваясь: «Привет чемпионам», – и мир вновь наполнялся цветами, звуками и запахами.

Позавчера, уговаривая его пойти со мной, я сказал, что лыжи люблю, ходить умею и даже в соревнованиях участвовал. С тех пор он звал меня чемпионом и по-другому звать

---

<sup>1</sup> Камус – шкура с голени животных, обладающих коротким и прочным мехом (северного оленя, лося, косули, нерпы), которая используется для изготовления зимней обуви (кис, унт) и специальной противоскользящей подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж.

отказывался.

Утром, перед выходом, он заставил меня поклясться, что я не поверну назад, что бы ни случилось. Я спросил его, не нужно ли скрепить клятву кровью, он не засмеялся, глянул на меня искоса, сказал серьёзно, что крови не надо, но без клятвы он со мной не пойдёт.

– Клянусь идти вперёд до конца за великим вождём Корнеевым Кроличья Шапка, и пусть перестанут скользить мои лыжи и видеть – мои глаза, если я поверну назад, – сказал я.

Он и тут не засмеялся, цыкнул неодобрительно, сильно оттолкнулся палками, пошёл ровным размашистым ходом и через пару минут исчез меж деревьев. Я поехал следом, поначалу так же легко и быстро, но всё медленнее и тяжелее с каждым прошедшим часом. Ныли ноги, ныли руки, я весь взмок в своём толстом самодельном анораке, но стоило на минуту остановиться, как холод пробирал насквозь, до дрожи. Тяжеленный рюкзак, набитый запасами на месяц, а то и на два, оттягивал спину и плечи, непривычно высокие валенки натирали под коленками, и последние два часа шёл я только потому, что стоять было ещё хуже.

Корнеев снова вынырнул из-за дерева, сообщил:

– Полкилометра до зимовья. Заночуем там, не пройти тебе больше.

Я кивнул, он развернулся всё с той же раздражающей лёгкостью и исчез.

Я с завистью глянул ему вслед и попытался прибавить хо-

ду. Если идти без остановки, полкилометра можно осилить за четверть часа. Всего четверть часа, каких-то девятьсот секунд отделяли меня от зимовья, от печки, от горячего чая, от счастливой возможности снять лыжи, сесть и даже лечь.

Лыжня свернула направо и нырнула под старую ель с низко опущенными ветвями, я нагнулся, задел ветку, снег свалился за воротник. Выбравшись из-под ели, я увидел в просвете между деревьями небольшую поляну, идеально белую и ровную, как накрахмаленная скатерть. Лыжня тянулась через неё прямой острой линией, словно заглаженная складка. Приземистая избушка стояла на другом конце поляны, из снежного сугроба на покатой крыше торчали корнеевские лыжи и палки. «Ура!» – закричал я, и большая пепельно-серая птица выпорхнула из ветвей над моей головой, испуганно квохча, и тут же скрылась за деревьями. Корнеев выглянул из избушки, погрозил мне кулаком. Я засмеялся, он осуждающе покачал головой и захлопнул дверь.

Полчаса спустя я сидел на грубых деревянных нарах, потягивал кипяток из алюминиевой кружки, грел о кружку задубевшие до нестигаемости пальцы, разглядывал зимовье в неровном, пляшущем свете керосиновой лампы. Корнеев вошел в углу у печки. Он забросил в котелок две горсти крупы, покосился на меня, посопел и добавил горстку изюма. В зимовье запахло летом.

– Давай помогу, – предложил я.



– Отдыхай пока, чемпион, – сказал Корнеев. – Два чемкэста<sup>2</sup> сделал по пухляку. Я думал, одного не сделаешь, обратно пойдёшь.

– Нельзя мне обратно, я ж тебе объяснял.

– Языком махать – не пахать.

– Ты мне всё ещё не веришь?

– Верю, – подумав, ответил Корнеев. – Верю, что так рассказали тебе.

– Но ты же сам сказал, что это может быть.

– Мало что я сказал. Что сказал, а чего и не сказал, – загадочно заметил Корнеев. – Всё, кончай тары-бары, поедим и спать завалимся.

Минут пятнадцать мы молча, сосредоточенно ели. Корнеев никогда не говорил за едой, утверждал, что еду уважать надо. После ужина он вышел на улицу, протёр снегом миски, вернулся в дом, сложил в печку несколько принесённых сырых полешек.

– Зачем сырые? – удивился я. – Вон же в углу сухие дрова.

– Чтоб всю ночь тлело, дурень, – пояснил Корнеев.

Мы расстелили на нарах спальные мешки, залезли в них, заворочались, устраиваясь поудобнее. Я вытянулся, зевнул раз, другой – сон не приходил. Сквозь печную заслонку пробивался тревожный красноватый свет, по стенам скользили тени от подвешенных под потолком пакетов с едой, едва слышно пиликал сверчок в углу у печки, и казалось невоз-

---

<sup>2</sup> Чемкэст – расстояние между зимовьями, примерно 8–10 км (*коми*).

можным, невероятным, что ещё неделю назад я был в Ленинграде. Корнеев тоже не спал, что-то напевал тихо, монотонно, будто сам себя убаюкивал. Потом вдруг замолчал, поспел и сказал:

– Кой-чего знаю я про Тот Город.

– Откуда? – удивился я.

– Брат мой там был.

Я попытался сесть прямо в мешке, но свалился, как ванька-встанька. Рванул молнию, выскочил из мешка, схватил Корнеева за мощные плечи, торчавшие из старого армейского спальника, и крикнул:

– Значит, Тот Город есть? В самом деле есть?!

– Брат говорит, что есть, – флегматично ответил Корнеев.

– Так что ж ты мне раньше не сказал? – возмутился я. –

Что ж ты...

– Не знал тебя, – всё так же флегматично сказал он, сбрасывая с плеч мои руки.

– А теперь знаешь?

– Немного знаю.

Больше в тот вечер я от него ничего не добился, на все мои вопросы он отвечал: «Отвязни, спать охота», – а потом и вовсе захрапел таким богатырским храпом, что нары задрожали. Я залез обратно в мешок, с трудом закрыл поломанную молнию, но заснуть не мог. Я думал об Осе.

# Глава первая

## Я

### 1

Мы познакомились на пешеходном переходе. Она стояла слева от меня, и не заметить её было невозможно, такая она была яркая. Полгода спустя, когда она стала моим хорошим другом, может быть, лучшим, который у меня когда-либо был, я спросил её, откуда это пристрастие к ярким тонам. Она улыбнулась. Она всегда улыбалась, прежде чем ответить. У любого другого это бы выглядело по-идиотски: ну чего улыбаться, когда тебя спрашивают, который час или кто последний в очереди. А она улыбалась, словно наделяла тебя частицей своего светлого мира, впускала тебя туда на минуточку, и улыбка была – билет, разрешение на вход.

Так вот, она улыбнулась и сказала:

– Эффект маятника.

– Максвелла? – глупо спросил я.

Мне было пятнадцать лет, и из всех своих небольших силёнок я стремился удержаться на её интеллектуальном уровне.

– Почему Максвелла? – удивилась она. – Обычного. – И, поглядев на меня внимательней, захохотала.

За неделю до этого разговора к ней пришёл один из её странных приятелей, они заспорили о какой-то неизвестной мне теории, и таинственный маятник Максвелла был дважды упомянут в разговоре. На следующий день я впервые в жизни поднял руку на уроке физики и спросил учительницу, что такое маятник Максвелла. Учительница не помнила, и после школы я отправился в городскую библиотеку, где провёл два бесконечных часа, пытаюсь понять, как этот самый маятник работает и что в нём особенного.

Конечно, я мог бы спросить у неё, и она бы мне с удовольствием объяснила: она любила объяснять и делала это исключительно хорошо. Но всегда предпочитала, чтобы я сам нашёл, прочитал, осмыслил.

– Не будь кукушонком, – говаривала она. – Не сиди с открытым ртом. Сам добывай себе интеллектуальную пищу.

И ещё у неё был приёмчик.

– Шпенглеровское определение культуры... – начинала она и, повернувшись ко мне, спрашивала: – Ты, конечно, знаешь, кто такой Шпенглер?

Конечно, я не знал. Ни о Шпенглере, ни о Швейцере, ни о бритве Оккама<sup>3</sup>, ни о парадоксе Гегеля<sup>4</sup>. Поначалу я не пони-

---

<sup>3</sup> Бритва Оккама – принцип, сформулированный английским философом Уи-

мал и половины того, о чём рассуждала она со своими разнообразными знакомыми. Но я старался, я трудился так, словно жизнь моя зависела от того, пойму я, что такое бритва Оккама, или нет. Я записывал в блокнот умные слова, я переписывал в общую тетрадь стихи из книг, которые она не разрешала брать домой, я стал настоящим рабом одноклассника, отец которого работал директором библиотеки. Для чего мне было это нужно, я не мог себе ответить тогда, не могу и сейчас. Может быть, я боялся, что ей станет скучно со мной, что она перестанет меня приглашать, что появится другой «Андрюшка на побегушках», как она шутя меня называла. А я уже не представлял себе жизни без неё, без споров с ней, без её рассказов, её книг, её музыки. А может быть, она просто была единственным взрослым, которому было интересно, что со мной происходит.

И дело не в том, что дома мне было плохо. Пока был жив отец, мы жили так хорошо, так дружно и легко, что даже не понимали, как хорошо мы живём. Мы ходили в походы и на концерты, устраивали праздники, писали друг другу стихи и не понимали – во всяком случае, я не понимал, – как нам повезло.

Но умер отец, и что-то умерло в матери вместе с ним, словно он был не отдельный человек, а какой-то её внутрен-

---

льямом из Оккама (1285–1349). Принцип утверждает, что простейшие объяснения явления, проблемы, вопроса – самые лучшие.

<sup>4</sup> «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы» – парадокс, сформулированный немецким философом Г. Гегелем.

ний орган. Мы больше не пели, не сплавлялись и ничего не праздновали. Мать начала болеть, часто лежала в больницах, ушла с работы, так как не могла больше часами стоять у кульмана, оформила пенсию по инвалидности. Она готовила еду, ходила на родительские собрания, следила за моими оценками, настояла, чтобы сестра окончила институт, но всё это словно через силу, словно выполняя долг. Или держа данное кому-то обещание. Если бы я не знал, что отец умер мгновенно, я бы подумал, что он взял с неё предсмертную клятву.

Большую часть времени мать проводила сидя на нашем крохотном, ещё отцом застеклённом балкончике с неизменным вязаньем в руках. Ни одной вещи она до конца не довязала, это был её предлог, её оправдание, но всё это я понял значительно позже, а по молодости лет очень раздражался и даже как-то предложил сестре спрятать вязанье.

– Оставь её в покое, – сказала сестра. Она была старше меня на шесть лет и понимала больше и глубже. Пару лет спустя, так и не преуспев ни в одном из своих начинаний – мы так и не съездили на юг, не сделали ремонт и не взяли садовый участок, – сестра тоже оставила её в покое, зажила своей жизнью и домой приходила только ночевать, да и то не всегда. Ещё через год сестра окончила институт и уехала по распределению в Сибирь. Она уверяла, что хочет посмотреть мир, но я думаю, она просто сбежала от тусклой безысходности нашей семейной жизни. Я тоже сбежал – к Осе.

Чтобы объяснить дома свои ежевечерние исчезновения, я сказал, что нашёл учительницу английского на пенсии, которая готова заниматься со мной бесплатно, если я буду гулять с её собакой и ходить в магазин. Мать и сестра обрадовались и тому, что я взялся за ум, и тому, что мне помогают, и что помощь эта бесплатна.

Враньём была только собака. Собак Ося не любила и, как мне казалось, даже побаивалась. Это было странно, поскольку человеком она была абсолютно бесстрашным, инстинкт самосохранения у неё отсутствовал напрочь, как она сама мне сообщила не без гордости.

В возрасте шестидесяти восьми лет, захлопнув дверь и забыв внутри ключи, она отправилась к соседке и перелезла через балкон в свою квартиру на шестом этаже так, словно это был первый. Я спросил, почему она не подождала меня, она искренне удивилась: зачем?

А вот собак боялась, и на мой вопрос: «Почему?» – ответила:

– По историческим причинам.

Когда она так отвечала, расспрашивать больше было нельзя, это я усвоил уже на второй день нашего знакомства.

По-английски она говорила бегло, но жаловалась на плохое произношение. Кроме английского, знала польский, немецкий и французский. И русский у неё был великолепный: сочный, богатый, выразительный.

Я был уверен, что тоже умею хорошо говорить и писать. Учителя всегда хвалили меня, а одно из сочинений даже послали на всесоюзный конкурс. Решившись, я принёс Осе сочинение о Раскольникове, то, о котором учительница сказала, что оно написано очень зрелым человеком. Ося прочитала его раз, вздохнула, прочитала ещё и спросила:

– Сначала по шёрстке или против шёрстки?

– Против, – мужественно сказал я.

– Тебе когда-нибудь хотелось убить человека? – спросила она.

Я растерялся. Она ждала. Наконец я пробормотал, что нет, не хотелось.

– Ты был лично знаком с убийцей?

Понимая уже, куда она клонит, я промолчал.

– Ты живёшь в том же самом городе, – сказала она холодно-сдержанным тоном, каким обычно говорила с людьми, подозреваемыми в небрежности мысли. – Ведь это так просто, сходи ещё раз в этот двор, лучше в сумерках, сейчас как раз зима, встань посередине, тебе даже напрягаться не надо, вы и по возрасту близки, и это «тварь ли я дрожащая или право имею» в тебе тоже сидит, представь...

Заметив что-то в моём лице, она вдруг прервалась и спросила:

– Ты хоть знаешь, где этот двор?

Я покачал головой. Мне было неловко, что я не знаю, но не это зацепило меня. Как догадалась она про «тварь дрожа-



щую» – вот что было мне интересно. Как поняла, что весь последний год я размышлял над вопросом, все ли люди равны, и постоянно приходил к очень неправильному, как мне казалось, ответу.

– В этом нет ничего стыдного, – словно прочитав мои мысли, сказала она. – И какой бы ответ ты ни дал на этот вопрос, в самом ответе тоже нет ничего стыдного. Стыд – категория моральная, а не интеллектуальная.

– Значит, не бывает стыдных мыслей? – спросил я, радуясь возможности увести разговор в сторону.

Она посмотрела на меня с интересом, по-птичьи склонив голову и прищурив глаз. В ней вообще было что-то от птицы, но не скучного городского голубя или вороны, а птицы тропической, большой и яркой. Я терпеливо ждал, она тряхнула головой, сказала:

– До тех пор, пока мысль не стала императивом, до тех пор, пока она часть осмысления, не бывает. Размышления находятся вне нравственности, мораль имеет дело не с мыслями, а с результатом этих мыслей.

– Значит, я могу думать, что Гитлер был прав, но если из этой мысли не следует поступок, в этом нет ничего плохого?

– Прав или не прав – это не размышление, а оценка. Для оценки требуется шкала, а шкала ценностей – это и есть мораль. Не говоря уже о том, что оценка требует фактов. У тебя их нет.

– У меня есть факты, – возмутился я. – Весь Нюрнберг-

ский процесс – одни сплошные факты.

– Полевого<sup>5</sup> читал? – поинтересовалась она странно напряжённым, даже немного дребезжащим от напряжения голосом. – Кино смотрел?

Не понимая, что с ней происходит, я замолчал. Она тоже молчала. Через пять минут, не в силах больше выносить это накалённое молчание, я отправился на кухню, налил в чайник воду, поставил его на плиту, сел на стул и три минуты тупо смотрел на пляшущее под чайником синее газовое пламя. Потом я вернулся в комнату.

Она сидела на диване в своей любимой позе, далеко вытянув ноги и скрестив на груди руки, смотрела в пол и молчала. На меня она по-прежнему не глядела. Это я в ней тоже давно заметил: она чрезвычайно редко смотрела людям в глаза. Даже в разговоре, если взгляд её случайно пересекался с другим взглядом, она опускала глаза мгновенно, резко, закрывала их на секунду и открывала снова, но уже глядя в пол, в стену, в окно – куда угодно, но только не на собеседника.

– Чаю налить? – спросил я, только чтобы нарушить это странное молчание. Почему мне было так неловко, я и сам не мог понять, молчать мы оба любили и умели, могли часами сидеть в полной тишине и довольстве друг другом, она

---

<sup>5</sup> Б. Н. Полевой (1908–1981) – русский советский прозаик и киносценарист, журналист, военный корреспондент, автор книги о Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1969).

со своей книгой, я – со своей. А сейчас мне было неудобно, неприятно даже, словно я разбил её любимую чашку или поцарапал пластинку.

Не поднимая головы, она кивнула, я вернулся на кухню, налил две чашки чая, достал из шкафа печенье, сахар, крикнул:

– Готово!

Она пришла, уселась на своё любимое место у окна, сделала пару глотков и вдруг спросила уже обычным своим, низким, глубоким голосом:

– Ты знаешь, что значит *vae victis*?

– Нет.

– А кто такой Николай Зоря<sup>6</sup>, ты знаешь?

– Нет.

Она снова замолчала и долго сидела, вертя в руках пустую чашку. Я засобирався домой. Она вышла в коридор, посмотрела, как я натягиваю свои рваные кеды, велела:

– Завтра не приходи.

Это было странно, и это было впервые, но прежде чем я успел испугаться или обидеться, она добавила:

– Приходи послезавтра. Мне нужно кое-что обдумать.

---

<sup>6</sup> Н. Д. Зоря (1907–1946) – заместитель генерального прокурора СССР, помощник главного обвинителя на Нюрнбергских процессах. Был найден мёртвым в своём гостиничном номере на следующий день после того, как И. фон Риббентроп и его секретарь под присягой устно восстановили текст тайного протокола-приложения к Договору о дружбе и границе между СССР и Германией.

От Оси я отправился в городскую библиотеку и выяснил, что *vae victis* означает «горе побеждённым». Кто такой Николай Зоря, я так и не узнал, хоть и просидел в библиотеке до самого закрытия.

Когда я пришёл послезавтра, она читала какое-то письмо и даже головы мне навстречу не подняла, лишь рукой поманила не глядя. Я прошёл в комнату и заметил лежавшую на столе незнакомую книгу. Прошлым летом, составляя для неё полный и подробный список, я провозился две недели, зато запомнил все две с лишним тысячи книг её библиотеки. Но разглядеть новую книгу я не успел. Она встала с дивана, подошла к столу и не спросила, а скорее потребовала:

– Кто такой Домбровский, ты тоже не знаешь?

– Почему это? – обиделся я. – Как раз знаю, это генерал такой польский, с Костюшко воевал. Мы по истории проходили.

Она посмотрела на меня – один из редких случаев, когда она смотрела прямо на меня, – потом отвернулась и издала странный обрывистый звук, то ли всхлип, то ли смешок. Если бы я не знал, с её собственных слов, что она не умеет плакать, я бы решил, что она плачет.

– Может, есть ещё один Домбровский<sup>7</sup>, – сказал я растерянно.

Она развернулась ко мне так резко, что я даже отпрянул

---

<sup>7</sup> Ю. О. Домбровский (1909–1978) – русский прозаик, поэт, мемуарист, археолог, искусствовед. Автор романов «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей», «Обезьяна приходит за своим черепом».

невольно, схватила со стола книгу, протянула мне и приказала:

– Читай.

Помолчала и повторила настойчиво:

– Читай. Сейчас.

Зная уже, что, когда она в таком настроении, спорить бесполезно, я взял книгу, сел за стол и глянул на обложку. Неуклюжее деревянное строение, эдакий многоэтажный теремок, занимало всю её правую половину. Слева от теремка неровными угловатыми буквами сверху вниз шла надпись: «Ю. Домбровский. Хранитель древностей». Я открыл книгу и два часа маялся, то по несколько раз перечитывая каждый абзац, то пропуская целые страницы. Ю. Домбровский мне решительно не нравился. Всё это время она неподвижно сидела на диване, опустив голову и закрыв глаза. Через два часа она глянула на меня искоса, спросила ядовито:

– Скучно? Страстей маловато?

Я пожал плечами, она вздохнула, сказала:

– Эту книгу ты должен прочесть. Иначе ничего не выйдет.

– Что не выйдет? – не понял я.

– Ничего не выйдет, – отрезала она и ушла в спальню, куда никогда и никого не пускала. Обычно это был сигнал, что пора собираться домой. Я прошёл в коридор, снял с вешалки свою школьную сумку.

– Домбровского не забудь! – крикнула она через дверь. – Даю тебе три дня. Пока не дочитаешь, не приходи.

Осилил я Домбровского не за три дня, а за неделю с хвостиком. Под конец даже увлёкся, хотя главный герой по фамилии Зыбин не переставал раздражать своей занудностью. А ещё я злился потому, что не мог понять, для чего она заставила меня читать эту книгу. Никогда раньше не принуждала она меня что-то делать без объяснений. Впрочем, злился я недолго. Начались выпускные экзамены, и мне стало не до Домбровского. Экзаменов я не боялся: я делил их на хорошие и плохие. К хорошим относились литература, сочинение, английский и история – всё то, что я любил и знал намного больше и глубже, чем требовала школьная программа. К плохим экзаменам относились все остальные, на которых выше тройки я никак не мог заработать, а меньше тройки мне не поставили бы всё равно. Получалось, что ни к хорошим, ни к плохим экзаменам готовиться не надо. Матери эта моя логика не казалась убедительной, но спорить она не могла и не хотела, ей было достаточно того, что каждый день я исправно просиживал за письменным столом по несколько часов. Главный спор с матерью был не об экзаменах, а о том, что будет после. Я собирался на филфак, она не то чтобы меня отговаривала, но не одобряла, и даже призвала на помощь приехавшую в отпуск сестру.

– Ни один здравомыслящий человек не возьмёт тебя работать учителем, – сказала сестра. – Единственное, что тебе останется после филфака, – это пойти в библиотекари.

– Или в писатели, – предложил я, но сестра так вытаращила глаза, так изогнула бровь, что я решил сменить тему и спросил, чем плохо быть библиотекарем, все интересные книги можно читать первым.

– А как насчёт армии? – поинтересовалась сестра.

– Так ведь всё равно возьмут, какая разница, после первого курса или после пятого.

– Иди туда, где есть военная кафедра.

Я засмеялся. Сестра поцеловала мать, велела ей: «Оставь его в покое, всё равно толку не будет», – и ушла на встречу с одноклассниками.

Перед последним экзаменом я не выдержал и отправился к Осе. Впервые за последние два года я не виделся с ней две недели и боялся, что она меня забыла.

– Экзамены сдал? – спросила она вместо приветствия, когда, неслышно открыв дверь своим ключом и не найдя её в комнате, я заглянул на кухню.

Ключ она мне выдала в конце первого года знакомства, объяснив, что, во-первых, ей лень вставать с дивана и открывать мне дверь, а во-вторых – мало ли что, так надёжней. По младости лет я не удивился этому «мало ли что», просто решил, что она боится потерять ключи или нечаянно захлопнуть дверь. Только несколько лет спустя я осознал, что боялась она совсем не этого.

– Последний остался, – ответил я.



– Хороший или плохой? – поинтересовалась она, ставя чайник на конфорку.

Она тоже не принимала моей логики, но совсем по другим причинам.

– Культурный человек обязан знать, как устроен мир, в котором он живёт, – утверждала она, а на мои возражения, что человек не может быть способен ко всему, не может знать всё и понимать всё, отвечала неизменно, что идеал недостижим, но это не значит, что к нему не надо стремиться.

Отвечать я не стал, налил себе чаю, выложил на стол булку с изюмом, удачно купленную в соседней булочной, отломал горбушку. Она поморщилась, достала из шкафа хлебную тарелку, отрезала несколько тонких аккуратных ломтиков, разложила ровным красивым слоем. Это была ещё одна странность. При том, что ей было абсолютно всё равно, что есть, она тщательно следила за тем – как.

Я допил чай, вымыл чашки, поставил их на полку – она всё ещё не спросила меня о книге.

– Домбровского дочитал, – осторожно сказал я, вновь усаживаясь за кухонный стол.

Она кивнула молча, глядя куда-то поверх меня. Обидевшись на такое отсутствие интереса, я решил резать правду-матку, ничего не смягчая и не пропуская.

– Очень сухая книга, – сказал я, с вызовом глядя на Осю. – Сухая и высокомерная. Наверное, автор – ужасный сноб. А герой главный – просто неврастеник какой-то.

И вдруг она заплакала. Если бы она ударила меня, или нецензурно выругалась, или упала в обморок, я бы удивился меньше. Но она не кричала и не ругалась, просто сидела молча, закусив губу, на своём любимом месте, в самом углу кухни, и огромные, словно глицериновые, слёзы медленно текли по её щекам. Она не утирала их, не всхлипывала, слёзы были отдельно, а она отдельно, до такой степени отдельно, что я даже подумал, не розыгрыш ли это.

Так и не сказав ни слова, она встала и ушла в спальню. Я посидел немного на кухне, потом ещё немного – в комнате, потом постоял у двери в спальню, прислушиваясь, потом, презирая сам себя, заглянул в замочную скважину. Ничего не было видно и ничего не было слышно, и невозможно было уйти, так её оставив. Ещё немного постояв, я вырвал из школьной тетради лист, написал на нём большими буквами «Я прошу прощения» и просунул ей под дверь, стараясь произвести как можно больше шума, чтобы она заметила. Она не заметила или не захотела заметить – угол листа так и остался торчать из-под двери. Я уселся под дверь на пол и стал ждать. Через полчаса я вдруг испугался, не случилось ли с ней чего, и отчаянно забарабанил в дверь, снова испугался, что не расслышу ничего, если она заговорит, и барабанить перестал.

– Иди домой, Андрей, – негромко сказала она в наступившей тишине. – Приходи, когда сдашь экзамен, тогда поговорим.

– Можно, я завтра приду? – попросил я.

– Когда сдашь экзамен, – повторила она из-за двери.

Спросить, о чём мы будем разговаривать, я не решился. До экзамена оставалось три дня, до выпускного – неделя. Неделю можно потерпеть, сказал я себе, это даже интересно.

Через неделю я к ней не пришёл. Не пришёл я и через две, а заявился через два месяца в виновато-агрессивном настроении и с огромным букетом астр. Минут десять я мялся в подъезде, набираясь смелости и разглядывая аккуратную медную табличку «О. С. Ярмошевская» на её почтовом ящике, потом бегом поднялся на шестой этаж. Открыть дверь своим ключом я постеснялся, позвонил, она открыла, постояла на пороге, внимательно меня разглядывая, потом посторонилась, сделала приглашающий жест.

– Это вам, – пробормотал я, протягивая цветы.

Она взяла букет, снова оглядела меня своим птичьим взглядом, прижав голову к плечу и прищулив один глаз, и вдруг спросила:

– Влюбился?

От изумления я не нашёлся, что сказать, только кивнул молча. Она засмеялась довольно, приказала:

– Рассказывай.

Я проямлил, что рассказывать особо нечего. Она возмутилась:

– И это говорит человек, который собирается стать писа-

телем. Как ты будешь описывать чужие чувства, если ты не в состоянии описать свои собственные?

Я возразил, что чужие чувства описывать намного легче, чем свои.

– Может, ты и прав, – задумчиво согласилась она. – Не так ощущается фальшь. Но бог с ними, с чувствами, давай начнём с фактов. Где ты её нашёл?

– На вступительном экзамене. Она сидела за соседним столом.

– И вместо того чтобы писать сочинение, ты разглядывал её красивую длинную шею и золотистые локоны и экзамен провалил с треском, – засмеялась Ося.

Она была права наполовину. И шею, и локоны, и всё остальное я и вправду разглядывал очень внимательно и экзамена не завалил лишь потому, что, вовремя спохватившись, сменил тему и вместо размышлений о вечных исканиях героев романа «Война и мир» быстро и гладко накатал портрет героя советской эпохи. Было немножко противно и стыдно, но я сказал себе, что крайние обстоятельства требуют крайних мер, и отдал сочинение экзаменатору.

После экзамена я перехватил свою соседку у выхода из аудитории, предложил проводить, и начался совершенно сумасшедший месяц, такой, какой бывает только в семнадцать лет, который потом вспоминаешь всю жизнь со смешанным чувством счастья, неловкости и сожаления. Неловкости, потому что трудно поверить, что ты был на всё это способен,

а сожаления, потому что никогда больше такого не будет – первого раза никогда больше не будет.

В конце августа Ирма отправилась с родителями на юг для поправки надорванного экзаменами здоровья. Перед отъездом она всплакнула быстрыми, легко высыхающими слезами влюблённой семнадцатилетней девочки, для которой любая разлука – вечность. Я утешал её, говорил какие-то пустые слова, с ужасом думая, как я буду жить эти три недели. Чтобы заполнить пустоту, в первый же день своего одиночества я купил астры и отправился просить прощения к Осе, Ольге Станиславовне Ярмошевской, к человеку, без которого ещё два месяца назад не мог прожить и дня. Как она догадалась, что со мной происходит, я не знаю до сих пор.

– Что она любит? – спросила Ося, разворачивая букет. – Чем интересуется? Что читает? О чём мечтает?

Тогда, в семнадцать лет, эти вопросы показались мне смешными и странными. Какая разница, о чём она мечтает и что любит, главное – просто быть с ней, сидеть рядом, обнимать её, сжимать в своей ладони тонкую загорелую руку, целовать узкое запястье, ощущая под губами ровное – так-так-так – биение её сердца.

– Не знаю, – ответил я. – Мы об этом не говорили.

Ося оборвала нижние листья, подрезала черенки, поставила цветы в вазу с водой, потом развернулась и сказала негромко, скорее себе, чем мне:

– Пройдёт.

– Что пройдёт? – встревожился я.

Она помолчала, потом улыбнулась и сказала:

– Всё проходит, и это пройдёт. Экклезиаста<sup>8</sup> читал?

Экклезиаста я не читал и даже не знал, кто это. Чтобы сменить тему, я напомнил:

– Вы хотели о чём-то поговорить со мной.

– Хотела, – медленно, с расстановкой произнесла она. – Но сейчас это бесполезно, сейчас ты слепой и глухой. Сейчас тебе хорошо, а от mnogой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. Давай-ка просто пить чай.

Я ничего не понял, но не стал переспрашивать. Что-то неприятное, тёмное, страшное скрывалось за её словами, а я был молод, влюблён, счастлив, и мне не хотелось ничего тёмного. Мы уселись пить чай. О девушке моей мы больше не упоминали, а говорили об институте, об учёбе, о том, что за прошедшие три месяца я не написал ни строчки – мне казалось это странным, я был уверен, что самые лучшие стихи и рассказы рождаются именно у влюблённых людей. Но Ося улыбнулась и сказала:

– После. Они рождаются после, когда начинается рефлексия, когда возникают споры. Творчество – всего лишь способ разрешения внутренних споров. Человек, живущий в гармо-

---

<sup>8</sup> Экклезиаст – одна из канонических книг Ветхого Завета. Название книги – греческая калька с еврейского слова «кохелет», что означает проповедника в собрании.

нии с собой, никогда ничего не сотворит. Счастливым людям рефлексировать некогда, они просто живут.

– Можно её к вам привести? – спросил я.

– Зачем? Ты хочешь поделиться с ней всем хорошим, что у тебя есть?

Я смутился, она засмеялась, сказала:

– Приводи, конечно. Мне же любопытно.

Но я не привёл. И не пришёл. Любовь и университет настолько заполнили мою жизнь, что места для Оси в ней не осталось совсем. Первые пару месяцев я вспоминал о ней каждый вечер перед сном и давал себе железное слово, что на следующей неделе непременно к ней зайду. А потом и вспоминать перестал. Так и вышло, что в это очень важное и очень трудное для Оси время меня с ней рядом не было.

В следующий раз я пришёл к ней за два дня до Нового года, принёс ёлку – хороший повод вернуться после четырёх-месячного отсутствия. Чувствовал я себя не слишком уверенно – она могла завести нового юного друга, и ёлка уже могла стоять в углу комнаты, разукрашенная так любовно, так расточительно, что невозможно разглядеть ветки за мишурой, лампочками и шарами.

Втащив ёлку на шестой этаж, я остановился на лестничной клетке и прислушался. За дверью было тихо. Я позвонил. Никто не открывал, я позвонил ещё раз, потом постучал. Ответа не было. Решив, что ёлку можно оставить в любом случае, я открыл дверь своим ключом и позвал:

– Ося!

Не получив ответа, я прошёл на кухню, потрогал чайник. Если она вышла ненадолго, чайник должен быть тёплым. Чай она пила практически непрерывно, крепкий до черноты. Допивала одну чашку и тут же наливала следующую. Сахар признавала только кусковой, колола каждый кубик на четыре части, забрасывала крошечную четвертинку в рот и жмурилась от удовольствия. Я спросил как-то, откуда у неё, явно городской жительницы, такие деревенские привычки. Она хмыкнула, сказала:



– О rus!<sup>9</sup>

– Я знаю, что это из «Онегина», – заметил я. – Но это ничего не объясняет.

Она засмеялась и перевела разговор.

Чайник был ещё тёплый. Я разделся, достал из шкафа доски и инструменты, собрал крестовину и уже вставлял в неё ёлку, когда знакомый голос произнёс у меня за спиной:

– С Новым годом.

От неожиданности я вздрогнул, рука с топориком, которым я обтёсывал ёлочный комель, соскользнула, и он ткнул мне по ноге. Топорик был маленьким, но острым, и ровная тонкая полоска крови тут же проступила сквозь носок. Я собрался было его стянуть, но Ося сказала быстро и чётко:

– Не снимай. Просто прижми рукой. Положи ногу на диван.

Я послушался, она вышла на кухню и тут же – мгновенно, как показалось мне – вернулась с бинтом, ватой и тазиком с тёплой водой, словно всё это стояло у неё за дверью.

Ловко, привычно, почти профессионально она обработала рану.

Потом подняла с пола топорик и подержала в руках, словно примериваясь.

---

<sup>9</sup> «О, деревня!» (*лат.*) – цитата из «Сатир» (кн. II, ст. VI) древнегреческого поэта Горация. А. С. Пушкин использовал её как эпиграф ко второй главе романа в стихах «Евгений Онегин».

– Сейчас доделаю, – торопливо пообещал я, – как только кровь остановится.

– Ты что, боишься, что я с топором не справлюсь? – засмеялась Ося. – Я ещё тебя поучу.

В три точных удара она обтесала комель до правильной толщины, вставила ёлку в крестовину, потом прижгла мне ногу йодом, забинтовала и вынесла приговор:

– До свадьбы заживёт. Кстати, свадьба ещё не намечается?

Я покраснел, она засмеялась, сказала:

– Вставай, симулянт, давай ёлку наряжать. Ты где встречаешь Новый год?

– Не знаю, – ответил я, – не решил ещё. А что?

Ирма отмечала Новый год с семьёй, приглашали и меня. Чтобы не попасть под перекрёстный допрос её многочисленных родственников, я сказал, что не хочу оставлять мать. Повод признали уважительным, но теперь мне был закрыт путь во все наши общие компании, и я почти смирился с мыслью, что новогоднюю ночь проведу дома, с матерью и приехавшей на праздники сестрой.

– Если тебе совершенно некуда деться, приходи ко мне, – предложила Ося. – Будет небольшая компания, человек шесть-семь, все интересные люди. Правда, не совсем твоего возраста, но...

– Я приду, – быстро перебил я. – Я обязательно приду.

Раньше она меня не звала, хотя я знал, что каждый год у неё собирается компания. Что-то происходило с ней, или со

мной, или с миром вокруг нас, что-то менялось, даже пахло в квартире по-другому – особым, резким и терпким запахом перемен.

– Могу салат сделать, – предложил я, – из яблок и сыра. «Нежность» называется.

– Салатов никаких не надо, – отмахнулась она. – И шампанского тоже не приноси, мы его не пьём. Можешь принести апельсины, если найдёшь. Главное – приходи в правильном настроении.

– Как это?

– Будь готов, – непонятно сказала она. – Это самое главное.

Сестра согласилась отпустить меня. Она приехала настолько непохожая сама на себя, что я даже подумал, не подменили ли её где-то там, в Сибири. С друзьями она не встречалась, по магазинам не бегала, подолгу сидела в ванной, забрав с собой телефон. Похоже, она была даже рада надолго остаться с матерью вдвоём.

Я надел выпускной костюм, повязал свой единственный галстук, засунул в сумку пакет с апельсинами и отправился в гости. Несмотря на то что пришёл к назначенному сроку, ровно в девять тридцать, я оказался последним. В комнате уже стояли и сидели люди, много людей, как показалось мне сначала, наверное, потому, что все они, увидев меня, замолчали и на меня уставились.

– Это и есть Андрей, – сказала Ося. – Знакомьтесь.

Ближайший ко мне человек, пожилой полный мужчина, улыбнулся неестественно белой и ровной протезной улыбкой, встал с дивана, представился глубоким оперным басом:

– Леонид Иосифович.

– Андрей, – повторил я, пожимая протянутую руку.

Гостей было семеро, как Ося и обещала. Двоих я уже встречал у неё: Марину Александровну, невысокую стройную женщину с пышной седой шевелюрой, напоминавшей мне сладкую вату, и очень худого и очень высокого бритого наголо мужчину с белёсым шрамом вдоль правой щеки, которого Ося звала Урбанас. Прошлым летом этот Урбанас жил у неё неделю, и всю эту неделю они отчаянно, до хрипоты спорили о прощении, всепрощении, смирении и мести. Спор был такого истеричного накала, что мне сделалось неловко, я перестал ходить к Осе и вернулся только в последний день – помочь Урбанасу, увозящему огромный чемодан, добраться до вокзала.

Познакомившись, все, словно по команде, отвернулись от меня и продолжили разговор про какого-то Киселёва, который умер, и они почему-то были рады, что он умер, но, с другой стороны, не очень рады. Ося присела на диван и долго слушала молча, потом встала, сказала негромко, но чётко:

«Жалеть об нём не должно:

Он стоил лютых бед несчастья своего,  
Терпя, чего терпеть без подлости не можно»,<sup>10</sup>

– и отправилась на кухню. Я пошёл следом и полчаса под Осиным дотошным руководством раскладывал по тарелкам и вазам всякую вкусную снедь.

Ровно в десять разлили по стопкам янтарно-жёлтую домашнюю настойку, пахнущую почему-то хвоей. Подняли первый тост, странный:

– За тех, кто не дошёл.

Закусывали этот непонятный тост варёной картошкой, что лежала горячей грудой на большой красивой тарелке в центре стола.

Закусив, тут же подняли второй тост – за тех, кто ушёл.

– За Киселёва, – упрямо набычившись, сказал Урбанас.

– За Марика, – добавила Ося, и моя соседка справа, крупная сухопарая женщина, всё ещё очень красивая, вдруг заплакала.

Никто не удивился, и никто не бросился утешать, только сидящий с другой стороны Леонид Иосифович обнял её за плечи и протянул салфетку.

После этого принялись за еду, заговорили все сразу: о Киселёве, о пенсии, о здоровье, каком-то неизвестном мне месте под названием Ухтак или Ухлак, снова о здоровье и снова о Киселёве. К этому моменту я уже соображал плохо, и

---

<sup>10</sup> Цитата из стихотворения Н. М. Карамзина «Тацит».

только две мысли вертелись непрерывно у меня в голове: что надо поменьше пить и получше закусывать, и что я пропускаю, не улавливаю что-то очень важное, что-то главное.

– Лёнчик, ты что, ребёнку полную норму наливаешь? – вдруг спросила Ося. – Посмотри на него, он же сейчас под стол свалится.

– Предупреждать надо, – виновато пробасил Леонид Иосифович.

– Я не ребёнок, – заплетающимся языком пробормотал я, но она не стала слушать, вытащила меня из-за стола, отвела в спальню и приказала: «У тебя есть полчаса – отдохнуть и прийти в себя. Вода на тумбочке», – и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Оказавшись в одиночестве, я странным образом начал стремительно трезветь. В загадочной Осиной спальне, в которую я так давно мечтал заглянуть, не оказалось ничего загадочного. Большая тахта занимала треть комнаты, одёжный шкаф занимал вторую треть, серый ковёр, испещрённый разноцветными линиями и точками, лежал на свободной трети пола. У изголовья тахты стояла тумбочка с настольной лампой и грудой книг. Воровато оглядевшись, я потянулся к ним. Пушкин, «Капитанская дочка», сборник стихов Ахматовой, увесистый розовый том с надписью «Что такое математика» на толстом корешке, несколько ксерокопий неизвестных мне авторов и в самом низу ещё одна книга Домбровского с непонятным и, как мне тогда показалось, пре-

тенциозным названием «Факультет ненужных вещей», с такой же непонятной и претенциозной обложкой, на которой была изображена необыкновенно толстая пионерка в форме и пилотке, отдающая салют на фоне то ли церкви, то ли юрт. Последней в стопке была роскошная антикварная Библия в иллюстрациях Доре<sup>11</sup>.

Пушкин и Ахматова мне были знакомы. Все остальные книги я видел впервые, и даже в своём полупьяном состоянии понимал, что и ксерокопии, и Домбровский, а может быть, и Библия и есть та самая запрещённая литература, о которой пару раз грозно упоминал на лекциях университетский преподаватель философии.

Дома у нас никогда не говорили о политике. Ни отец, ни мать не были членами партии, но это не обсуждалось, и мне даже не приходило в голову спросить их почему. У нас с сестрой было обычное октябрятско-пионерское детство, в комсомол я вступил вместе со всеми, как и положено, в восьмом классе, не сильно задумываясь, зачем и для чего. Ося как-то поинтересовалась, комсомолец ли я.

– Да, – ответил я, – как все.

– Прямо-таки все? – усомнилась она.

Подумав, я вспомнил, что два мальчика из моей параллели комсомольцами не были, один – потому что его всё равно бы не приняли, а второй – потому что болел, когда все всту-

---

<sup>11</sup> П. Г. Доре (1832–1883) – французский гравёр, иллюстратор и живописец.

пали. Я сказал об этом Осе, она вздохнула, спросила:

– И что в твоей жизни изменилось, когда ты стал комсомольцем?

– А почему что-то должно было измениться? – удивился я.

– Зачем тогда вступать? – осведомилась она.

Не зная, что ответить, я пожал плечами, она глянула на меня, как мне показалось, с жалостью и переменяла тему. Больше о политике как таковой мы не говорили, хотя много спорили о коммунизме, о социальной справедливости и о справедливости вообще, о литературе как способе борьбы за эту самую справедливость. В это трудно поверить, но ни разу за все годы нашего знакомства я не задумался о том, не являлись ли эти споры антисоветчиной. Ни разу до этого самого новогоднего вечера. Теперь же и задумываться было нечего, лохматая ксерокопия брошюры под названием «Просуществует ли СССР до 1984 года?»<sup>12</sup> ответила мне на вопрос прежде, чем я успел себе его задать. До восьмидесяти четвёртого года оставалось не так много времени, и я быстро заглянул в конец брошюры, надеясь найти ответ. Ответ был неутешительным.

Мне сделалось жарко, я снял пиджак, положил его на тахту. Почему она держит дома такие книги? Почему на виду, на прикроватной тумбочке? Почему не боится? Тогда я не

---

<sup>12</sup> «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» – историко-публицистическое эссе советского диссидента А. Амальрика. На русском языке впервые опубликовано в 1969-м (Фонд имени Герцена, Амстердам) и в том же году издана на английском (Harper & Row, Нью Йорк).



смог себе ответить, сейчас же понимаю с кристальной ясностью: к тому времени ей уже было совершенно всё равно, она уже знала, что её ждёт, и ничего не боялась. Почему она не боялась за меня, я не знаю до сих пор. Может быть, верила, что перемены уже близко, или думала, что нет другого способа, кроме как перестать бояться. Может быть, рассчитывала, случись что, взять всю вину на себя. Знаю только, что тогда я не испугался, но как-то внутренне напрягся, как бывает, когда стоишь на лыжах на вершине крутого холма, готовишься спуститься и чувствуешь, как холодная струйка восторга, смешанного со страхом, почти с ужасом, щекочет тебя изнутри.

Пройдясь пару раз по комнате, я присел на краешек тахты, нервно зевнул, посмотрел в стену прямо перед собой и только тогда увидел её. На стене висел портрет женщины неопределённого возраста, из тех, которые в тридцать и в пятьдесят выглядят одинаково. Это был даже не портрет, а набросок, не до конца прорисованный, без фона. Суровое женское лицо проступало из глубины листа. Жёсткий прямой рот, курносый, не очень уместный на таком лице нос, крупный тяжёлый мужской подбородок, мощные надбровные дуги и глаза, яростные, непримиримые, глядящие прямо в тебя: осуждающе, неодобрительно, презрительно даже, словно утверждающие твою слабость и трусость по сравнению с ней, с той, которая смотрит на тебя с портрета этими стальными глазами,

не боясь ничего и никого. Наверное, такие глаза были у старообрядцев-раскольников или у еретиков, сжигаемых на кострах инквизиции. Поёжившись, я встал, надел пиджак, подошёл к двери, снова оглянулся на портрет. Глаза по-прежнему смотрели на меня в упор, словно следили за мной. Я потушил свет и вышел из спальни.

В комнате негромко пели, как поют любимую песню давно знакомые и спевшиеся люди. Леонид Иосифович играл на гитаре; не аккомпанировал, не вёл мелодию, просто вставлял тут и там печальный одинокий аккорд. Слова этой песни я помню до сих пор, поскольку именно в этот самый момент, когда они пели, а я стоял в дверях и слушал, мне всё стало ясно. Я читал в книгах о таких озарениях и всегда думал, что это гипербола, преувеличение, в жизни так не бывает. А теперь это случилось со мной. Меня словно подняли за воротник и встряхнули как следует, так что всё виденное и слышанное за эти три года утряслось у меня в голове, пристроилось одно к другому, все кусочки мозаики легли на свои места, и я понял, догадался вдруг и сразу.

«За Полярным кругом,

— пели они, —

В стороне глухой,  
Чёрные, как уголь,

Ночи над землёй.  
За Полярным кругом  
Счастья, друг мой, нет —  
Лютой снежной выюгой  
Замело мой след».

В два часа гости начали расходиться. Первыми ушли Марина Александровна и молчаливый смуглый мужчина, сидевший рядом с ней и весь вечер обнимавший её за плечи. Потом я спустился на улицу и поймал такси для Леонида Иосифовича и двух его спутниц. Урбанас и Алла Константиновна, красивая женщина, плакавшая за столом, оставались ночевать у Оси. Посадив уезжавших в машину, я вернулся в квартиру. Урбанас курил на лестничной клетке, Анны Константиновны не было видно, Ося вытирала посуду на кухне. Я принялся расставлять вытертые тарелки, понимая, что время уходит, что если не сейчас, то потом я не решусь никогда. Я сосчитал про себя сначала до двадцати, потом до пятидесяти. Ося вытерла последнюю тарелку, развязала фартук.

Я откашлялся, сжал кулаки, загородил ей выход и спросил:

— Как долго вы там были, Ося?

— Семнадцать лет, — ответила она, потрепала меня по плечу и вышла из кухни.

# Первая интерлюдия

Когда я проснулся, Корнеева в зимовье не было. Я повернулся на бок и охнул – болело всё: плечи, руки, ноги, спина – не было такого атома в моём организме, который бы не болел. Кряхтя и постанывая, я выполз из спальника, добрался до печки, посмотрел на часы: 5:43, рань несусветная. Я оторвал от лежащей на столе прошлогодней газеты пол-листа, бросил на сизые, едва тлеющие угли и долго шуровал в печке железным прутом, пока угли не разгорелись снова. Корнеева всё не было.

Я вышел на улицу, набил котелок снегом, вернулся и поставил его на печку. Не зная, чем ещё себя занять, достал из рюкзака свой походный дневник, открыл, написал: «Тайга, день первый», – жирно подчеркнул и задумался, вспоминая вчерашний день. Писать было решительно нечего.

– Ты ж сказал, что не писатель, – произнёс за спиной Корнеев. Чёрт его знает, как у него так получалось, но ходил он совершенно бесшумно, словно в невесомости. Я вздрогнул, закрыл тетрадь, ответил сердито:

– По-твоему, всякий, кто пишет, – писатель?

– А что он, читатель, что ли? – ехидно поинтересовался Корнеев.

– Когда выходим? – спросил я.

Корнеев присел на лавку у стола, потрогал котелок, кив-

нул одобрительно. Я встал, налил ему кипятка в огромную алюминиевую кружку, стоявшую на печке, бухнул туда две полные ложки заварки. Он прикрыл кружку ладонью, сказал коротко:

– Пади ждём.

Я уже знал, что кыча – это сильный мороз, за сорок, что кухта – это снег на деревьях, пухляк – недавно выпавший, мягкий снег, а чемкэст – расстояние между зимовьями. Про падь я слышал впервые и ждал, когда Корнеев объяснит, но он и не собирался объяснять, сидел и блаженствовал, потягивая своё чернейшее горчайшее зелье, даже глаза прикрыл от удовольствия.

– Когда ты, Корнеев, приедешь ко мне в Ленинград, ты тоже многого понимать не будешь, – заметил я голосом неестественно ровным от усилия скрыть обиду и раздражение.

– Не приеду, – сказал он, не открывая глаз. – Чего там делать?

Если бы я так от него не зависел, я бы, наверное, ударил его, хоть он и был куда крупнее меня. Я сел на нары, начал считать до ста. На шестидесяти восьми Корнеев сказал:

– Снега подождать надо.

– Зачем? – изумился я.

Он не ответил, сделал ещё два глотка, я начал считать дальше.

– Следы покрывает, – сказал он на девяноста трёх.

– Ну что ты за человек, Корнеев! – сказал я с тоской. –

Трудно тебе объяснить сразу?

– Больно ты быстрый, чемпион, – ответил он, наливая себе ещё одну кружку.

Я досчитал до ста двадцати, пересел на лавку, поближе к Корнееву. Может, это к лучшему, что надо выждать день. Задержка на день ничего не изменит, а руки-ноги до завтра немного отойдут, идти станет легче. Пока же мы маемся от скуки в этой избушке, возможно, мне удастся его разговорить. С самого начала я подозревал, что он знает намного больше, чем рассказывает.

Корнеев допил вторую кружку и теперь возился у печки, подкладывал дрова. Я помолчал, собираясь с мыслями, начал осторожно:

– Ты вчера про брата говорил. Что он бывал в Городе.

– Бывал, – согласился Корнеев.

– А как он туда попал?

– Родился там.

Я заткнул себе рот кулаком и больно укусил сам себя за тыльную сторону кисти. Корнеев бурных эмоций не любил, это я заметил с первого дня знакомства. Минут пять мы оба молчали. Корнеев сел на нары, прислонился спиной к опоре, закрыл глаза. Я спросил негромко:

– Когда?

– Не знаю, – ответил Корнеев.

– Сколько брату сейчас, сорок?

– Ещё нет сорок.

Меньше сорока. Но вряд ли меньше тридцати, потому что Корнееву самому под тридцать, а брат старший, это я помнил. Значит, между сорок первым и пятьдесят вторым годом. Ося говорила про сорок шестой.

– И что же, брат жил там?

– Немного жил.

– Почему немного?

– Болел сильно, в деревню отдали.

– Как отдали?

– В подклет<sup>13</sup> подбросили.

– К кому?

– К нам.

– Значит, это не родной твой брат?

– Почему не родной? – удивился Корнеев. – Родной. Не кровный только.

– Сколько ж ему лет было, когда подбросили?

– Кто знает? Два года было, три года было.

– Так он, наверное, и не помнит ничего, – разочарованно сказал я.

– Всё помнит. Мать к нему приходила, в гости водила.

– Откуда приходила? – пытаюсь унять дрожь в голосе, спросил я.

– Из Города.

– Родная мать?

---

<sup>13</sup> Подклет (*устар.*) – нежилой (цокольный) этаж жилой деревянной или каменной постройки.

– Какая ещё? – сказал Корнеев и раскрыл глаза, видимо, поражаясь моему тупоумию.

– Как её звали?

– Не помню, – подумав, сказал Корнеев. – Катерина вроде. Ивановна.

Меня трясло и колотило сильнее, чем вчера на морозе. Чтобы успокоиться, я подошёл к печке, налил себе чаю во вторую алюминиевую кружку.

– Спать пойду, – сказал Корнеев. – Через час ещё проверю.

Он залез в спальный мешок, снова завёл своё унылое монотонное песнопение. Я вышел наружу, сделал широкий круг вокруг зимовья, растёр лицо снегом, напомнил себе, что каждая третья женщина в русской деревне – Катерина Ивановна. К тому же Корнеев не уверен, может, это и не Катерина вовсе, а Анна или Ирина. Но даже если Катерина, это тоже ничего не значит. Так уговаривал я сам себя с четверть часа, пока не понял, что бесполезно, поздно, я уже сделал то, чего не позволял себе всё это время: я начал надеяться.



# Глава вторая

## Ося

### 1

Мне бы хотелось сказать, что после Нового года я стал к Осе очень внимателен, часто ходил к ней, мы много говорили, и я записывал все её рассказы. Мне бы хотелось, чтобы так было. Но так не было.

В январе началась сессия, её требовалось сдать на отлично. Отцовские деньги кончались, мы продали машину, продали гараж, весь первый семестр я подрабатывал разгрузкой вагонов, очень этого стесняясь и от Ирмы скрывая. Повышенная стипендия являлась не приятной добавкой к семейному бюджету, а его жизненно важной частью, и я готовился к экзаменам так, как ещё ни разу в жизни ни к чему не готовился. Едва сдав сессию, я уехал в дом отдыха. Путёвка предназначалась родителям Ирмы, но у отца случился аппендицит, мать не захотела его оставить, и в дом отдыха послали нас. А чтобы мы не натворили ничего лишнего, с нами отправили её младшую сестру, ангельского вида десятилетнее существо, далеко превосходящее по возможностям вождя краснокожих из одноимённого рассказа. Сестра не оставля-

ла нас вдвоём ни на минуту, мы вместе обедали, вместе ходили на лыжах, вместе по вечерам сидели в кафе. Мы даже танцевали втроём на местных танцульках, и почтенного вида старики и старушки, основной контингент дома отдыха, умилённо взирали на нас, повторяя: «Какие замечательные дети». Словом, когда мы вернулись домой, я чувствовал себя как солдат, выбравшийся из окружения.

Осе я регулярно звонил. Стандартный вопрос «как дела?» раздражал её безмерно, поэтому я обычно придумывал какой-нибудь экзотический повод, вроде «не знает ли она, из-за чего поссорились Сартр и Камю?». Что она отвечала, было не важно, ни про того, ни про другого я толком ничего не знал, о ссоре случайно услышал от знакомого старшекурсника. Я просто давал ей понять, что я о ней помню, что я не испугался и не собираюсь прекращать знакомство. Я думаю, она прекрасно всё понимала и надо мной посмеивалась, тем не менее на вопросы отвечала с удовольствием.

Вернувшись домой, я первым делом побежал в деканат. Удостоверившись, что стипендию получил, я позвонил матери и отправился к Осе. Последний раз мы разговаривали три дня назад, и я не ждал никаких сюрпризов. Тем сильнее я удивился, войдя в квартиру и обнаружив, что по ней словно конница пронеслась. Одежда и обувь, книги и пластинки, посуда и прочая домашняя утварь, вытащенные из шкафов и снятые с полок, ровным слоем покрывали пол в обеих ком-

натах. Посреди этого тарарама, в центре круга из картонных ящиков сидела Ося и раскладывала по ящикам вещи.

– Вы переезжаете? – растерянно спросил я.

– Составляю завещание, – ответила она. – Впрочем, неверно. Пока просто сбрасываю балласт.

Поначалу я решил, что это шутка, может быть, не сама удачная, но безвредная. Потом заметил, что вместо обычных надписей типа «Посуда» или «Пластинки» на ящиках написано «Урбанас», «Лёнчик», «Маринка» и на самом большом, стоящем слегка в стороне, – «Андрей». Мне сделалось сильно не по себе.

– Сядь, – приказала она. – Надо поговорить.

И, заметив, что я оглядываюсь в поисках стула, добавила сердито:

– Да на пол же.

Я опустился на пол рядом с ней, она заговорила рваными короткими фразами:

– Я скоро ложусь в больницу. Выйду ли оттуда – не знаю. Нужно навести порядок в делах. Рада, что ты пришёл, поможешь.

– А что... Почему... – растерянно начал я, она перебила:

– Хочешь спросить, что со мной приключилось? Рак. Будут оперировать. Это всё, что тебе нужно знать. В больницу не приходи, там тебя видеть не желаю. Бери бумагу, начинай клеивать ящики.

Я принялся за работу, то и дело роняя клейкие бумажные

ленты, теряя ножницы и путая вещи. Руки у меня дрожали, в животе словно затянули узел, и почему-то всё время звенело в ушах. Ося поглядывала неодобрительно, но молчала. Провозились мы до позднего вечера, но не разобрали и половины. Решив, что закончим завтра, мы отправились на кухню пить чай. И вот тогда, во втором часу ночи, посреди перевёрнутой вверх дном квартиры, прощаясь и с этой квартирой, и со мной, и с жизнью, она рассказала мне наконец свою историю.

Родители Осины были обрусевшими поляками. Дед её по материнской линии, известный в Петербурге врач-эндокринолог, успел выдать свою позднюю единственную обожаемую дочь за своего любимого ученика, после чего благополучно скончался. Бабка умерла через год после деда. Ещё через год родилась Ося. Когда ей исполнилось четыре, началась война. Отца призвали на флот военврачом, в октябре семнадцатого он погиб в Моонзундском сражении<sup>14</sup>.

Смерть мужа мать переживала очень тяжело, перестала выходить из дома, общаться с подругами, и Октябрьская революция поначалу прошла мимо неё. Целыми днями сидела она в гостиной у окна в траурном чёрном платье и перелистывала семейные альбомы. Осей занималась кухарка Наста-

---

<sup>14</sup> Моонзундская операция (12–20 октября 1917 года) – комбинированная операция германских военно-морских и сухопутных сил по захвату Моонзундских островов в Балтийском море, принадлежащих России; последнее крупное сражение российской армии и флота в Первой мировой войне.

ся Васильевна: кормила, мыла, причёсывала, водила с собой на базар.

Но когда один за другим начали останавливаться заводы, когда вышел из строя водопровод, когда ввели карточки и классовые пайки, а жуткая банда попрыгунчиков<sup>15</sup> начала творить беспредел на городских улицах, мать вынырнула из своего забытья и решила перебраться в Киев, к родителям мужа. Она распрощалась с Настасьей Васильевной, продала изумрудное кольцо – мужнин подарок на годовщину свадьбы – и купила билеты на поезд, полмешка картошки, пять буханок хлеба и здоровый шмат сала.

Вначале им везло, до Киева они добрались довольно быстро и без потерь. В Киеве везение кончилось. Бабушка с дедушкой исчезли бесследно, в их квартире на Владимирской горке жили незнакомые люди, попытки разузнать об их судьбе у соседей, дворника, властей наталкивались либо на равнодушие, либо на откровенную враждебность. Город переходил из рук в руки, от гетмана к Петлюре, от красных к белым и опять к красным, каждая новая власть вводила свои законы и устраивала свои погромы, ни на кого нельзя было рассчитывать и ни с кем невозможно было договориться. Мать и Ося ютились на окраине, в нетопленной полуразрушенной хибарке, прежние жильцы которой отправились в деревню

---

<sup>15</sup> «Попрыгунчики» – преступная группировка, совершавшая разбойные нападения в 1918–1920 годах в Петрограде. В тёмное время суток преступники, одетые в белые саваны и колпаки, нападали на одиноких прохожих, используя особые пружины, прикреплённые на обувь, и ходули.

менять вещи на продукты. Жили холодно, голодно и нервно, в постоянном страхе, что вернутся хозяева и выгонят их на улицу. Хозяева не вернулись, вместе с ними пропали материны браслеты, отданные для обмена.

Ося заболела испанкой, болела долго и тяжело, а когда выздоровела, в городе уже всю хозяйничали красные. Киев пустел, вымирал от погромов, болезней и голода, люди разъезжались, разбегались, кто в деревню – пережить тяжкие времена, кто в Крым, с дальним прицелом. Чтобы убежать, нужны были деньги или вещи, которые можно обменять на деньги, или умения, которые можно обменять на деньги и вещи. У Оси с матерью не было ни того, ни другого, ни третьего. Большую часть невеликого своего имущества они уже продали, жили как придётся и чем придётся. Постоянно, даже во сне, хотелось есть, в руках и ногах всё время покалывало от голода. Десятилетняя Ося подворовывала потихоньку на рынке, мать делала вид, что не замечает.

Счастье подмигнуло им год спустя, когда красных выбили из города поляки, и мать засобиравшись в Варшаву, где вроде бы жили какие-то дальние родственники. Но уехать они не успели, мать свалилась в тифозной горячке, свалилась в прямом смысле слова: встала утром с кровати и рухнула на пол, как оловянный солдатик, не сгибая колен. Месяц Ося её выхаживала, то воровала, то выпрашивала еду, таскала по полешку дрова из соседских поленищ, дважды была за это бита, но выжила. Через месяц, когда мать смогла впервые

сесть на кровати, Красная армия поляков уже прогнала, на сей раз окончательно.

После болезни мать словно подменили. Заболела тифом утончённая, изнеженная, экзальтированная дама, два года жившая продажей фамильных драгоценностей и мехов и едва не умершая с голоду, когда меха и драгоценности кончились. Выздоровела от тифа энергичная, жёсткая, напористая женщина, решившая любой ценой выжить и поднять дочь.

– Что ушло, то ушло, – сказала она Осе, проведя рукой по жалкой щетинке, выросшей на месте роскошной каштановой гривы. – Назад смотреть бесполезно, под ноги смотреть противно, будем смотреть вперёд.

Словно поддерживая мать в этой внезапно обрётённой решимости, судьба послала им подарок в виде бывшего приятеля отца, а ныне военврача Первого Таращанского полка Первой украинской советской дивизии товарища Тихонова, которого мать неожиданно встретила на улице. Он помог им вернуться в Петроград.

Петроград встретил их дождём. Город был тих и безлюден, заводы не работали, обветшавшие дворцы зияли провалами выбитых окон, напоминая Осе неопрятных беззубых стариков. Трамваи ходили редко, всегда набитые до отказа, до невозможности вытянуть руку из плотного сплетения тел. Знаменитые петербургские фонари торчали тёмными мёртвыми колоннами, продукты выдавали по карточкам,

и бледные, опухшие, плохо одетые люди часами стояли в очередях в надежде получить свой фунт<sup>16</sup> жуткого хлеба из опилок с дурандой<sup>17</sup> и твёрдую, как камень, воблу. «Зачем мы сюда приехали, мама?» – спросила Ося, мать не ответила, только рукой махнула.

В их бывшей квартире жили незнакомые люди, и Ося с матерью поселились у материной подруги по женским курсам Анны Николаевы Береснёвой-Страховой, некогда наследницы купеческой империи Страховых, ныне машинистки Общества взаимного кредита. В двух комнатах, оставленных Анне Николаевне в родовом особняке, всё время ночевали разные люди, большей частью молодые мужчины с хорошей военной выправкой.

Осю записали в Советскую единую трудовую школу номер семнадцать, бывшую вторую петербургскую гимназию. Школа считалась хорошей, мать волновалась, боялась, что Ося не готова и очень отстала за два с лишним года скитаний. Но оказалось, что и читает, и пишет Ося лучше всех в классе, а её рисунки учительница Антонина Петровна всегда откладывала в отдельную папку, вздыхая и печально качая головой. Когда папка заполнилась до отказа, она вызвала мать, сказала, что Луначарский открыл бесплатную художественную школу и надо бы Осю туда отдать. Мать сходила на раз-

---

<sup>16</sup> 1 фунт = 450 грамм.

<sup>17</sup> Дуранда (жмых, макуха, колоб) – продукт, получаемый после отжима растительного масла из семян масличных культур (подсолнечника, рапса, льна и др.).



ведку, долго совещалась с Анной Николаевной: ходить по городу было небезопасно, особенно вечером. Всё-таки решили попробовать. Анна Николаевна достала дореволюционный альбом пропавшего без вести сына, в нём было целых шесть чистых листов. Один из её многочисленных знакомых принёс три почти новых карандаша и лысую кисточку, и Ося с матерью отправились на улицу Слуцкого, бывшую Таврическую, дом тридцать пять, в художественную школу-мастерскую. В эту школу Ося проходила шесть лет, каждый день, в дождь и в вёдро, зимой и летом, больная и здоровая. Школа спасла её, перекинула мостик к новой, непонятной жизни в новой, непонятной стране со странным названием СССР. Школа спасла её ещё раз двадцать лет спустя, когда на лагерьной перекличке спросили: «Художники есть?» – и соседка по строю вытолкнула вперёд плохо соображавшую от высокой температуры Осю.

Спустя полгода после их возвращения в Петроград Ося подслушала разговор матери и Анны Николаевны.

– Аня, ты играешь с огнём, – говорила мать. – Тебя арестуют.

– Варенька, – ответила Анна Николаевна (мать звали Барбарой, но все подруги называли её Варей). – Мне всё равно. Владимир погиб, что с Колей, я не знаю, эти мальчики – они едва старше Коли, я обязана им помочь.

Через месяц после этого разговора судьба очередной раз подтвердила свою к ним благосклонность. Мать, переби-

вавшуюся случайными заработками вроде мытья пробирок в университетских лабораториях или музыкального сопровождения революционных пантомим, приняли переводчицей в АРА<sup>18</sup> – американскую администрацию помощи голодающим. Кроме зарплаты, матери выдали специальную детскую карточку, по которой Ося каждый день получала в столовой АРА горячий обед. Ося потолстела, пересталаходить на анатомическое пособие, мать похорошела, вернулась из неопределённого серого возраста в свои законные тридцать три.

От Анны Николаевны они съехали: матери удалось получить ордер на вселение в одну из квартир в соседнем доме. Осе уходить не хотелось, Анна Николаевна ей нравилась, но мать слушать не стала, бросила резко: «Ей терять нечего. А нам с тобой есть». Спустя пару месяцев к ним прибежала соседка Анны Николаевны, рассказала шёпотом, непрерывно всхлипывая и оглядываясь, что Анну Николаевну арестовали за участие в белогвардейском заговоре. «Допрыгалась», – с мрачным удовольствием сказала мать.

Работать в АРА матери нравилось, американцы были дружелюбны и благожелательны, а среди русских переводчиков практически все были «бывшими», людьми похожей судьбы. Один из американцев со смешной фамилией Болдвин пытал-

---

<sup>18</sup> Американская администрация помощи (англ. American Relief Administration, ARA) – негосударственная организация в США, существовавшая в 1920–1930-е годы. Наиболее известна своим участием в оказании помощи Советской России в ликвидации голода 1921–1923 годов.

ся за матерью ухаживать. Она смеялась, но время от времени соглашалась, ходила с ним в театр или в кино, непременно беря с собой Осю.

Ещё весной, когда власти объявили о новой экономической политике и в магазинах стали появляться давно забытые продукты и вещи, мать купила четыре владимирских полотенца, и знакомая портниха сшила ей и Осе по новому платью. Платье вышло такое нарядное, что в школу Ося стеснялась его надевать, ходила только в театр. Ели они теперь, как в прежние времена, на скатерти, из фарфоровых тарелок, и, хоть еда была вся та же, жидкий овощной суп или картошка в мундире, мать накрывала на стол по всем правилам этикета и того же требовала от Оси.

Гражданская война заканчивалась, уходила на окраины, жизнь понемногу налаживалась, и власти смотрели на американскую благотворительность всё более косо. Летом двадцать третьего года ARA закрыли. Мать осталась без работы. Болдвин приходил к ней несколько раз перед отъездом, уговаривал уехать с ним. Мать колебалась, Ося отказалась наотрез. «Ни за что не поеду, – заявила она матери. – Езжай сама к своим буржуям». Американец уехал несолоно хлебавши. Мать несколько дней ходила с красными глазами, потом сказала, что всё к лучшему, и устроилась переводчицей в Русско-американскую индустриальную корпорацию – фантастический плод фантастического сотрудничества советского правительства и американского текстильного проф-

союза. Через два года корпорацию тоже закрыли.

Мать подрабатывала уроками то музыки, то французского, но всё чаще и чаще, вернувшись из школы домой, Ося заставляла её на кровати в полудрёме, глядящей вдаль взглядом пустым и прозрачным. Ося посоветовалась с соседкой и решила сводить мать к хорошему врачу. Две недели она уговаривала, упрашивала, угрожала, и мать сдалась. Они отправились к известному в городе терапевту. Пожилой очкастый доктор, спрятав в ящик примерно треть материных сбережений, принялся задавать странные вопросы: много ли мать пьёт, много ли ест, не потолстела ли в последнее время, не похудела ли, потом отправил мать в смежную комнату взвешиваться и делать анализ, спросил Осю, где её отец и есть ли у неё ещё родственники. Узнав, что отец Оси был врачом, а мать – дочь доктора Войцеховского, сказал: «Я работал с вашим дедушкой, милая барышня, он был прекрасным врачом», – вынул деньги из ящика и протянул их Осе. Мать вернулась, следом вошла медсестра, кивнула многозначительно. Доктор вздохнул, предложил матери сесть, заговорил негромко, сочувственно:

– У вас диабет, сударыня. Сахарный диабет. Вам необходима диета, к счастью, простая – овсяная каша. Ешьте только её, так мало, как можете, чтобы чувствовать себя приемлемо, но ешьте обязательно и регулярно. Постарайтесь не нервничать. Приходите ко мне через месяц, дочери доктора Войцеховского я всегда рад помочь.

– Что такое диабет? – спросила Ося.

– Избыток сахара в организме, – ответил врач.

– Как у тебя может быть избыток сахара, если мы только раз в день чай с сахаром пьём? – поинтересовалась Ося, когда они вышли от доктора.

– Не знаю, – рассеянно сказала мать, думая о чём-то своём. – Разве в сахаре дело.

Осе исполнилось шестнадцать, она училась в последнем, девятом классе, пыталась найти работу, чтобы помочь матери. Мать возражала категорически, повторяла: «Образование – твоё спасение», – таскалась через силу по своим ученикам. Овсяная диета не слишком ей помогала, ничего другого врач посоветовать не мог. Он велел Осе всегда держать под рукой несколько кубиков сахара, закладывая их матери в рот, если вдруг начнутся судороги. «Глупости, – сказала мать. – От судьбы не уйдёшь. Мне бы только успеть тебя на ноги поставить». К лету ей стало немного лучше, доктор рассказывал о новом чудодейственном лекарстве под названием инсулин, сказал, что его научились делать в Харькове, что скоро появится в аптеках.

Ося сдала экзамены, получила аттестат. По случаю окончания школы решили всем классом сплавить по Неве на кораблике, кто знает, соберутся ли они все вместе ещё когда-нибудь. Домой она вернулась поздно, немного удивилась, что на спальной половине горит свет, заглянула за за-

навеску – мать лежала на полу, лицом вниз, далеко вытянув правую руку. Сахарные кубики из упавшей сахарницы валялись рядом, самый близкий – в пяти сантиметрах от материнской руки.

Первые два месяца после смерти матери Ося жила со странным ощущением, что это не окончательно, что мать ещё вернётся. По привычке ставила две тарелки на стол, раскладывала ножи и вилки, по привычке аккуратно застила-ла кровать на двоих, хотя кому было дело до её кровати, до её ножей, до неё вообще. Жила она всё это время словно под наркозом, действительность воспринимала вполсилы и издалека. Через два месяца кончились деньги. За следующую неделю Ося подъела все имеющиеся в доме продукты, а когда ничего не осталось, кроме толчёной в порошок сухой крапивы, раствором которой они мыли волосы, легла на кровать и принялась смотреть в потолок, точь-в-точь как мать в последний месяц. Да и кровать была та же самая.

Сколько она так пролежала, Ося потом никак не могла вспомнить. Может, день, а может, и неделю. Помнила только, что время от времени вставала, пила воду из чайника, прямо из носика, потом и вставать перестала, впала в сонное забытьё, в котором всё время виделся ей отец, крутилось одно и то же воспоминание, единственное оставшееся от отца.

– Как тебя зовут? – спрашивал отец.

– Ольга Станиславовна Яρμοшевская, – шепелявя, отвечала маленькая Ося.

– Значит, ты Ося, – смеялся отец. – Вот смотри, Ольга –

это о, Станиславовна – это с, Яρμοшевская – это я. Ося.

Он подбрасывал Осю под потолок, потом ловил у самого пола, мать в длинном красивом платье сидела рядом на диване, кричала:

– Сташек, прекрати сейчас же, ты её уронишь, – но и сама тоже смеялась, и видно было, что она не сердится.

Из забытья Осю вывел стук в дверь, стучали долго и настойчиво, прекращали и снова начинали. Ося не вставала. Даже если и захотела бы встать, сил уже не было. За дверью слышались громкие голоса, частью сердитые, частью успокаивающие, потом кто-то крикнул громко: «А ну, разойдись!» – слышался сильный удар, дверь слетела с петель и упала на пол, а сверху свалился Коля Аржанов, сосед по квартире и секретарь комсомольской ячейки на Путиловском<sup>19</sup>.

– Ты чего это, Яρμοшевская, помирать собралась? – спросил он, поднимаясь и отряхивая штаны. – Личное горе поставила выше нашей общей цели?

Вслед за Аржановым в комнату вошли два незнакомых парня и девушка, протиснулись две испуганные соседки.

Кто-то поставил чайник, кто-то достал из кармана сахар в крошечном кулёчке и полбулки хлеба, Осю заставили встать,

---

<sup>19</sup> Путиловский (Кировский) завод – одно из старейших и крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий Российской империи, СССР и современной России. Расположен в Санкт-Петербурге.



умыться, выпить стакан сладкого кипятка.

– Значит так, Ярмошевская, – сказал Аржанов. – Мы тебя в беде не бросим, но и ты должна проявлять сознательность, а не киснуть, как капуста в чане. Иди к нам на Путиловский, я за тебя походатайствую. Тебе шестнадцать есть уже, верно?

– Есть, – прошептала Ося.

– Короче, наша ячейка берёт над тобою шефство.

– Я же не комсомолка.

– Пока. Проявишь сознательность – рассмотрим вопрос.

Просидев два часа, надавав Осе кучу советов и оставив ей хлеб и сахар, они ушли. Соседки ушли ещё раньше. Ося вновь осталась одна, открыла ящик стола, достала маленький – *duodecimo*, как мать его называла, – альбомчик, пронесённый матерью через все их приключения и невзгоды, посмотрела на склонившегося над больным дедушку, в белом халате, с закинутой за спину белой бородой, на мать с отцом в свадебных нарядах, на маленькую себя, сидящую на высоком деревянном стуле, в кружевном платье и с плюшевым зайцем под мышкой, и решила жить дальше.

При всей благодарности Аржанову и его комсомольской ячейке на Путиловский она не пошла, поступила в ленинградский художественно-педагогический техникум, известный в городе как Таврическое училище. Поиски универсального художественного языка, споры о тренировке зрительно-

го нерва, башня Татлина<sup>20</sup>, эксперименты Малевича интересовали её куда больше, чем трактора и победа мировой революции. Жила она поначалу продажей материнских вещей, потом техникумовские приятели пристроили её учеником художника на Ломоносовский фарфоровый завод. Деньги платили небольшие, но Осе много и не надо было.

На втором курсе техникума она попала в филоновскую компанию. Все её друзья занимались в МАИ, школе «Мастеров аналитического искусства» под руководством Павла Филонова<sup>21</sup>. Филоновцы были фанатиками, подвижниками, о мастере говорили с придыханием, с ним нельзя было спорить, его нельзя было перебивать. Утверждали, что он гений, первооткрыватель и основоположник, что в аскетичной полупустой комнате в Доме литераторов прямо на глазах создаётся нечто необыкновенное, неслыханное.

Под Рождество Ося уговорила приятеля, и он привёл её к Филонову. Высокий худой человек с длинным лицом, напомнимшии Осе Дон Кихота с гравюр Доре, стоял в центре комнаты. Вокруг стояло и сидело человек десять учеников.

Все молчали, благоговейно внимая учителю, он держал на

---

<sup>20</sup> Проект Памятника III Интернационала (башня Татлина, 1920) стал одним из символов мирового авангарда и визитной карточкой конструктивизма.

<sup>21</sup> П. Н. Филонов (1883–1941) – российский и советский художник, поэт, один из лидеров русского авангарда; основатель, теоретик и практик аналитического искусства – направления живописи и графики начала XX века, оказавшего заметное влияние на многих художников и литераторов.

далеко отставленной ладони карандашный набросок, объяснял, почему он плох.

– Это его рисунок? – шёпотом спросила Ося приятеля.

– Ну что ты, – удивился тот. – О своих рисунках Павел Николаевич так говорить не будет. Он их просто показывает.

Художник услышал шёпот, глянул недовольно в их сторону. Глаза у него были странного, никогда прежде Осей не виданного цвета – красно-коричневого. Поймав его взгляд, Осин приятель засуетился, вытолкнул Осю вперёд, сказал:

– Вот, привёл к вам, Павел Николаевич, студентка ЛХПТ. Хочет понять, что такое аналитический метод.

– Зачем? – сухим негромким голосом поинтересовался Филонов.

Ося растерялась, ляпнула первое, что пришло в голову:

– Я была на вашей выставке.

Филонов глянул на неё внимательней, со старомодной суровой галантностью предложил стул, заметил сдержанно:

– Я никого не учу. Художник делает себя сам, именно делает. Но я могу дать вам постановку, если вы хотите и готовы работать.

Ося быстро глянула на приятеля, спрятавшегося у художника за спиной, тот отчаянно замотал головой, соглашаясь, мол, и не думай.

– Я могу попробовать, – нерешительно сказала Ося. – Я не знаю, получится ли.

– Будете трудиться – получится. Мой метод доступен для

всех. Сделанность – это результат труда, а не гения. Вы знаете, в чём состоит правда искусства?

Не решаясь сказать ни да, ни нет, Ося молчала, глядела во все глаза на странного человека в линялой толстовке и заплатанных полотняных, несмотря на декабрь, штанах.

– Правда искусства – это правда анализа. Сила искусства – это действие правды, добытой анализом и выявленной живой, говорящей формой, – убеждённо сказал он. – Поэтому мой метод называется аналитическим.

Говорил он часа четыре, практически без остановки. Осе хотелось есть и спать, она давно уже перестала понимать, о чём он рассказывает, но упрямо слушала, даже записывала что-то. К вечеру народу в комнату набилось столько, что она стала похожа на улей – и видом своим, и непрекращающимся низким мерным гудением разговоров. Начинались идеологические занятия, теоретическое обоснование филоновского метода. Приятель сказал, что это самое интересное, но Ося больше не могла слушать. Она тихонько выскользнула из комнаты, благо народу было много, и отправилась домой. От усталости и голода у неё немного кружилась голова, тело было лёгким, невесомым, казалось, взмахни руками – и взлетишь. Она даже попробовала, взмахнула, засмеялась сама над собой.

На следующий день, в воскресенье, она никуда не пошла, достала из ящика заветный альбом, подаренный матерью на окончание школы, последний материн подарок, сняла со сто-

ла скатерть и села рисовать по памяти соседского мальчишку, но не так, как раньше, а по-новому, так, как вчера учил мастер. Она решила, что не вернётся к Филонову, пока не сделает этот рисунок. Рисовать по-филоновски было непривычно, он требовал начинать с малого, с точки, доводить каждую точку до совершенства, до идеала, находить для неё единственно правильный цвет и единственно правильную форму. Каждая сделанная точка должна была создавать вокруг себя живое пространство, чтобы рисунок рос и развивался, как живой организм. У Оси не получалось, она сердилась, карандаш царапал бумагу, а потом и вовсе сломался. Она бросила рисунок под стол и отправилась варить суп. По воскресеньям она всегда варила суп из купленных задёшево костей и потом ела его всю неделю. Но и с супом дело не заладилось: думая о другом, она прозевала, не успела вовремя снять пену, бульон получился грязный, непрозрачный. Она вернулась в комнату, подняла с пола рисунок, осторожно, не дыша, очинила свой любимый карандаш, но в альбоме рисовать не стала, взяла обычный тетрадный лист.

Поздно вечером, изведя целую тетрадь, Ося убрала карандаши в ящик, вновь накрыла стол скатертью, налила себе пригоревшего несолёного супа и задумалась. С детства все вокруг твердили, что она хорошо рисует. Она и вправду могла нарисовать всё, что просили, – зверей, цветы, людей; могла уловить сходство, но всё это случалось словно само собой, бездумно, почти без усилий. И чем меньше требова-

лось усилий, тем лучше получалось, как правило. Филонов же утверждал обратное, он требовал думать, анализировать, знать про каждую линию и каждую точку – почему они такие, почему они там. Ей казалось, что этот анализ сродни вскрытию, а вскрытие можно делать только на мёртвом, живое оно убивает. И всё же Филонов был ей интересен.

Даже полвека спустя, когда она мне всё это рассказывала, Ося не могла объяснить, чем так притягивал её Филонов.

– В нём было что-то завораживающее, почти сверхъестественное, – сказала она. – Как в гипнотизёре. Голос сухой, но при этом глубокий и низкий, виолончельный какой-то. Глаза странные, вишнёвые, нечеловеческие. И фанатизм, абсолютный, выстраданный, начисто лишённый любых сомнений, фанатизм мученика. Когда ты был рядом, ты не мог не верить.

На первую филоновскую работу у неё ушло три месяца. Через три месяца, прижимая к груди папку с двумя рисунками, она вновь пришла на Карповку, поднялась по узкой лестнице, прошла длинным захламлённым коридором, постучалась в последнюю дверь справа – теперь уже сама, без приятеля. Филонов был один, работал, встретил её настороженно, но рисунки посмотрел внимательно, сделал несколько замечаний, сказал:

– Рад, что вы вернулись. Надо верить в себя. Талант – это выдумка. Главное – это труд, это сделанность.

Многие филоновцы учебу бросали, но Ося из ЛХПТ не ушла, хотя все свободные вечера проводила в филоновской келье среди странных людей и ещё более странных картин. И сам Филонов, и его студийцы к её дневным занятиям относились неодобрительно, а вот к работе на заводе – с пониманием, и это тоже было странно.

Так прожила она год, а весной тридцатого года Академия художеств решила устроить примирительную выставку, на которой выставятся все: реалисты, супрематисты, экспрессионисты, индивидуалисты и прочие – объединений и направлений в тогдашнем Ленинграде было едва ли не больше, чем самих художников. Пригласили и Филонова. Как всегда, он заявил, что выставляться будет вместе с учениками. Начали обсуждать, кто показывает, что показывают. Филонов вдруг предложил одну из Осиных работ, ученики согласились, не слишком на этом факте задерживаясь, каждого интересовал он сам. Сначала Ося испугалась, потом обрадовалась, потом испугалась снова. Ходить на Карповку пару раз в неделю по вечерам – это одно, официально признать себя последователем филоновской школы – это совсем другое. Филонов, некогда ценимый властью, нынче был в опале, выставка его в Русском музее никак не могла открыться, картины висели в залах почти год, но людей в эти залы пускали редко, только на закрытые просмотры. Каталог выставки переиздали, поменяв текст с доброжелательного, временами восторженного, на злобно насмешливый. «Единственный известный мне

случай, когда в каталоге выставки ругают выставляемые картины», – вскользь заметил Филонов.

Были у Оси и другие, нехудожественные опасения. Только что прошло «Шахтинское дело»<sup>22</sup>, власти провозгласили политику «великого перелома», отношение к «бывшим», терпимое по необходимости в годы НЭПа, становилось всё менее и менее терпимым. Счастливые пионерские годы, когда она верила, что может стать своей, настоящей, не «бывшей», прошли. Ей было страшно. И всё же главная причина была не в страхе перед возможными последствиями, точнее, не только в нём. Как бы ни нравилось Осе бывать у Филонова, как бы ни старалась она работать по принципу сделанности, она не чувствовала себя настоящей, по духу, а не по обстоятельствам, филоновской ученицей.

– Так зачем же ты к нему ходишь? – спросила она сама себя и, зажмурившись, честно сама себе ответила: – Из-за Яника.

---

<sup>22</sup> «Шахтинское дело» – инсценированный судебно-политический процесс (1928) над руководителями и специалистами угольной промышленности СССР, представителями дореволюционной технической интеллигенции. Они обвинялись во вредительстве, саботаже и связях с зарубежными антисоветскими центрами. В 2000 году все осуждённые были реабилитированы за отсутствием состава преступления.



Яник был старше Оси на пять лет, выше её на голову и талантливее, как ей казалось, раз в двести. Он пришёл к Филонову на год раньше, ходил к нему нечасто, но регулярно и был одним из немногих, кто не боялся открыто спорить с мастером. Он вообще ничего не боялся. В восемнадцатом году, когда его семья вместе со всей польской общиной Белостока бежала в Польшу, он отстал от поезда и три года скитался беспризорником по Украине, пытался перейти польскую границу, бродил с цыганским табором, бил чечётку в борделе в Минске, рисовал фальшивые деньги для воровской банды в Смоленске. В двадцать первом году добрался до Петрограда, жил в детской коммуне в Царском Селе, торговал на толкучке сахарином и папиросами поштучно. Там-то его и заметил хорошо одетый вежливый человек, постоянный посетитель толкучки, скупавший по случаю картины, скульптуры и прочую роскошь. Человек этот часто останавливался рядом, внимательно Яника разглядывал, а однажды сказал своему спутнику по-французски, видимо, не хотел, чтобы Яник понял:

– Смотри, какие умные глаза. Жаль мальчишку, из него мог бы выйти толк.

– О каком именно толке вы говорите? – по-французски же поинтересовался Яник, мать которого преподавала фран-

пузский язык в Белостокском институте благородных девиц.

С толкучки они ушли вместе, новый знакомый оказался архитектором, ценным спецом, проектировщиком заводских зданий для ГОЭЛРО<sup>23</sup>. Кроме того, он был профессором ВХУТЕМАСа<sup>24</sup> и – поляком. За четыре года, проведённых в семье профессора, Яник откормился, сдал экстерном экзамены за школьный курс и поступил во ВХУТЕМАС на архитектурный факультет, деканом которого оказался его неожиданный покровитель. В двадцать четвёртом году профессор с женой отправился в Лондон на конференцию и обратно не вернулся. Янику он не сказал ни слова. Яника вызвали в НКВД, допрашивали, даже арестовали на несколько дней, но потом отпустили. Оставшись один, он без особой грусти распрощался с реквизированной профессорской квартирой, переехал жить к приятелю-студенту, перевёлся с архитектуры на живопись и начал ходить к Филонову. Имея возможность сочинить себе с нуля выгодную пролетарскую биографию, он тем не менее сохранил откровенно польские имя и фамилию и не скрывал своей шляхетской родословной, напротив, ею гордился. Впрочем, скрывать было бесполезно, всё в нём: походка, манера держаться, поднимать глаза, поворачивать

---

<sup>23</sup> ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) – государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года.

<sup>24</sup> ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – учебные заведения, созданные после революции 1917 года в Москве, Петрограде и других российских городах.

голову, говорить – выдавало неправильное происхождение. Именно это поначалу и отметила Ося – нескрываемый, даже подчёркнутый аристократизм, редкая смелость оставаться собой.

За первый год знакомства они не сказали друг другу и трёх слов. Они и виделись-то нечасто – Яник бывал на Карповке редко и по утрам, работал по ночам сторожем в кожевенном кооперативе. Ося приходила, как правило, вечерами, на занятия по идеологии. Однако Ося была уверена, что он её заметил, что она ему нравится. К концу первого года эта уверенность начала исчезать – в те редкие случаи, когда они пересекались, кроме вежливого «добрый день», он так и не сказал ей ни слова. Но часто, резко повернув голову или неожиданно подняв глаза, она замечала, что он на неё смотрит цепким, оценивающим, очень мужским взглядом. Заметила она и то, что в обсуждении её рисунков и картин он никогда не участвовал, хотя о других высказывался очень активно. Ося набралась смелости, подошла к нему после занятий, когда студийцы толпой высыпали в узкий коридор и на лестнице образовалась пробка, спросила:

– Почему вы никогда ничего не говорите о моих работах? Не считаете их достойными?

– Я не считаю достойным критиковать женщину, – улыбаясь, ответил он. – Я старомодно воспитан.

С упавшим сердцем Ося осознала, что он прав: он не об-

суждал не только её работы, но и работы всех девушек-студийцев.

– Это не старомодность, – сердито выпалила она. – Это – поощрение неравноправия. Вы не верите, что женщина может быть настоящим художником?

Он помолчал, явно выжидая, пока очередь на лестнице рассеется и они выйдут на улицу, потом ответил неожиданно серьёзно:

– Я верю в то, что настоящего художника нельзя сделать, им можно только родиться.

– Так зачем же вы ходите к Филонову? – удивилась Ося.

– Я верю в то, что настоящий художник не имеет ни пола, ни возраста, ни национальности. Он не позволяет себе опускаться до таких мелочей. Это очень трудно, но Филонов это сумел.

Несколько минут они шли молча, Ося размышляла над его словами, потом вдруг спохватилась, поняла, что он идёт рядом, совсем не в ту сторону, в какую ему нужно идти. Он поймал её взгляд, сказал, улыбаясь:

– Захотелось составить вам компанию.

– Зачем?

– Ну вот уж сразу и зачем. Просто так, для удовольствия поболтать с девушкой своего круга.

– Какого круга?

– Doskonale rozumiesz, co mam na myśli<sup>25</sup>, – по-польски от-

---

<sup>25</sup> Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду (польск.).

ветил он.

С этого дня они начали встречаться. Хотя правильнее было бы сказать – провожаться. Дважды в неделю Яник провожал её от Карповки до дома, доводил до подъездной двери, вежливо прощался и уходил, а Ося долго стояла в подъезде, следя сквозь неплотно прикрытую дверь, как он неторопливо пересекает двор и скрывается за углом. Иногда она загадывала: если обернётся, то всё будет хорошо. Он никогда не оборачивался.

Кроме польских корней, у них нашлось ещё много общего: они любили те же книги, ту же музыку, те же картины, их раздражали похожие вещи и похожие вещи радовали, даже детские воспоминания у них были похожи. С ним было легко и интересно, с ним она не боялась своего прошлого, не стеснялась своей биографии. Даже сдержанность его поначалу ей льстила, но спустя пару месяцев начала раздражать, а через полгода она решила со вздохом, что они просто друзья. Было грустно, но она утешала себя тем, что друзьями можно оставаться всю жизнь, а любовь ни к чему хорошему не приводит, достаточно она насмотрелась на подружек и на их роковые романы. Да и замуж она не собиралась, она привыкла быть одна, сама решать, когда и куда пойти, чем заняться и на что потратить деньги.

Летом среди филоновцев случился раскол. Ссоры и споры бывали и раньше: слишком много молодых, талантливых,

энергичных людей набивалось в филоновскую келью, даже его непререкаемый авторитет не мог удержать всех в одних и тех же жёстких рамках. Но такой серьёзный раскол случился впервые. Началось всё, как часто бывает, с пустяка. Появилась новая ученица, вздорная немолодая дама, Филонов сделал ей постановку, она ходила на занятия. Выставка в Академии художеств всё ещё шла, филоновцы по очереди дежурили у картин, объясняли всем желающим, что такое принцип сделанности и аналитическое искусство. Новенькая тоже пыталась объяснять, очень неуклюже и неправильно. Филонов запретил ей появляться на выставке, она покаялась и согласилась, но приходить и говорить не перестала. Ученики называли это профанацией, требовали её прогнать, запретить ей называть себя членом МАИ. Тогда взбунтовался Филонов, сказал, что не позволит никого изгонять, что любому можно объяснить, нужно только терпение и время. С ним не согласились, были сказаны резкие, неприятные слова; все прежние, подавляемые его авторитетом несогласия вылезли наружу. У Филонова кончилось терпение, он сказал сухо:

– Если нам больше не по пути, те, кто со мной, – отойдите налево. Те, кто против, – направо.

Ося отошла влево. Не потому, что была за новую ученицу, а потому, что метод был филоновский, и мастерская – филоновская, и нельзя было так его предавать. Но многие, не меньше двух третей, отошли вправо. Яника не было, и от Филонова Ося побежала на Васильевский остров, где он по-

прежнему жил вдвоём с приятелем. Подняться к ним она не решилась, вызвала Яника на улицу, рассказала ему, что произошло. Он слушал невнимательно, думал о чём-то своём. Ося даже обиделась, спросила:

– Тебе всё равно?

– Я хожу общаться с Павлом Николаевичем, а не с его учениками, – пожал плечами, ответил Яник.

– А если всё развалится, и он перестанет учить?

– Рано или поздно это должно произойти.

– Тогда до свидания, – рассердилась Ося. – Тогда нам не о чём говорить.

Она повернулась, собираясь уходить, но не успела: он взял её за руку, с силой развернул к себе и сказал:

– Вот тут ты ошибаешься. Как раз сейчас нам есть о чём поговорить.

– О чём? – робко спросила Ося, радуясь, что темно и не видно, как она покраснела.

– О нас, – жёстко выговорил он. – О нас с тобой.

Ося молчала, боялась, что голос выдаст её, он тоже помолчал, потом заговорил, вначале медленно и чётко, чем дальше – тем быстрее, спотыкаясь и глотая слова, словно боялся не успеть сказать всё, что хочется.

– Я непростой человек с непростой биографией, я привык делать только то, во что верю, и говорить только то, что думаю. Притворяться я не умею и не считаю нужным, так что вряд ли меня ждёт светлое будущее. За себя я не боюсь, но

если... Если у нас... Если ты... Если мы будем вместе, моё неясное будущее коснётся и тебя.

– У меня тоже не очень ясное будущее, – тихо ответила Ося.

– Я знаю. Но пойми, то, что я никогда не сделаю для собственного спасения, я могу не выдержать и сделать ради другого, ради близкого, любимого человека...

– Ты боишься найти из-за страха потерять, – всё так же тихо, не глядя на него, сказала Ося.

– Не потерять – стать зависимым, уязвимым.

– Любой человек уязвим. Тот, кто захочет прижать тебя посильнее, всё равно найдёт как. И потом, этого может никогда не случиться.

Он не ответил, Ося тоже молчала, разглядывала пуговицы на его куртке, и так стояли они довольно долго, всё ещё держась за руки, потом он спросил быстро:

– А ты? Ты не боишься найти и потерять?

– Конечно, боюсь.

– Тогда как же ты можешь?

– *Jakoś to będzie*<sup>26</sup>, – вспомнила Ося любимую материну поговорку.

Он засмеялся, взял её лицо в ладони, спросил:

– Значит, ты согласна?

– На что?

– Стать моей женой.

---

<sup>26</sup> Как будет, так будет (*польск.*).



– Женой? – изумлённо переспросила Ося.

– А как же иначе? – удивился он. – Я же предупреждал тебя, я старомодно воспитан.

Поженились они только через год. Ося хотела окончить техникум, Яник искал работу, а когда получил наконец заказ от Детгиза, сроки были такие сумасшедшие, что три месяца они почти не виделись. Рисунки его понравились, ему предложили иллюстрировать целую серию, и он сказал Осе, что откладывать больше нет смысла. Свадьбу не устраивали, просто расписались в районном загсе, и Яник переехал жить к ней. Утром на третий день совместной жизни Коля Аржанов остановил её на кухне, потянул за собой в угол, подальше от любопытной соседки, спросил:

– Нарушаем, Ярмошевская? Пускаем к себе постояльцев без прописки? Нехорошо, неправильно.

– Это не постоялец, – объяснила Ося. – Это мой муж.

– Какой ещё муж? – хрипло спросил Коля.

– Обыкновенный. Позавчера расписались.

– Ну и дура! – крикнул Аржанов и вышел с кухни, так сильно хлопнув дверью, что штукатурка посыпалась.

– И вправду дура, – сказала молчавшая до сих пор соседка. – Круглая. Он нынче в гору идёт, Коля-то. Вышла бы за него, пошла бы на Путиловский работать, и была бы ты пролетариат, гегемон. От всех бед он бы тебя прикрыл. А теперь ты кто? Никто, социально чуждая, вот ты кто. Смотри, он

тебе ещё припомнит.

Ося не испугалась, в её нынешнем настроении она вообще ничего не боялась: жизнь была прекрасна, интересна, удивительна, и она наслаждалась каждым мгновением. Им было очень хорошо и очень просто друг с другом: оба не боялись работы, оба привыкли обходиться малым, оба знали цену словам. На разговоры о профессиональной деятельности, единственную тему, которая неизбежно приводила к спорам, с первого же дня наложили негласный запрет. Яник работал на жилой половине, Ося – на спальной, работы друг другу показывали только завершённые и советы давали чисто технические. Ося продолжала ходить к Филонову, Яник перестал, но рассказы её слушал с интересом.

Филонову предложили иллюстрировать «Калевалу» – финские и карельские сказания. Как всегда, он выговорил право работать всей студией. Осе досталось несколько заставок, она очень нервничала, думала, что предложили ей не за заслуги, а просто потому, что рабочих рук не хватало. Времени было мало, бросать работу на фарфоровом заводе не хотелось, это был небольшой, скучный и утомительный, но всё же стабильный заработок. Рисовала она по ночам, садилась у окна, за которым сначала сужалась, а потом опять расширялась, так и не исчезнув до конца, розовая полоса на горизонте, и думала, что это, наверное, и есть счастье – сидеть белой ночью у окна, смотреть на чёткий профиль спящего

Яника и рисовать.

«Калевала» заняла у филоновцев почти год. Работу сделали быстро, но разрешения сменялись запрещениями, одобрение – недовольством, их упрекали в склонности к архаизму, формализму и десятку прочих «измов», даже Горькому, курировавшему издание, не всегда удавалось отстоять их идеи. Всё-таки книга вышла, десятитысячный тираж разошёлся очень быстро, и, когда Ося впервые взяла в руки увесистый томик, когда увидела своё имя в списке иллюстраторов, ей даже сделалось немного страшно – неужели она и вправду настоящий художник?

Яник пролистал книгу, вздохнул, сказал, что надо отметить, что он сходит в магазин, схватил кепку и вышел, почти выбежал из комнаты. Он продолжал работать в Детгизе, говорил, что это разумный компромисс, единственное место, где можно не кривить душой, но Ося видела, как тяготят его бесконечные пионеры, заводы и аэропланы. Свои работы он забросил, сказал, что нет смысла, он не Ван Гог и на посмертную славу не надеется. Ося пыталась спорить, приводила в пример приятелей-художников, он оборвал её вежливо, но твёрдо:

– В своей профессиональной жизни решения я принимаю сам.

– А если ты ошибаешься?

– Я готов платить за ошибки.

Вернулся он через два часа, поставил на стол бутылку дешёвого вина, положил белую булку, пучок редиски, два свежих огурчика. Ося нарезала хлеб и овощи тонкими ломтиками, сложила на красивую тарелку, разлила по бокалам вино. Выпили молча.

– Почему мы не можем быть как все? – вздохнула Ося. – Живём как все, работаем как все, выглядим как все.

– А думаем? – язвительно поинтересовался Яник. – Думаем мы тоже как все?

– Но почему мы думаем по-другому?

– Каждый думает по-другому. Все думают по-другому. Думать – это личное занятие, нельзя думать коллективно. Или думаешь сам по себе, или не думаешь вовсе.

– Ты хочешь сказать, что они не... – начала Ося и не докончила, испугалась того, что просилось на язык.

Яник усмехнулся невесело, налил себе ещё вина.

– Может быть, нам лучше уехать? – спросила Ося после паузы.

– Как? – отозвался Яник, и по тому, как быстро он её понял, с какой готовностью ответил, Осе стало ясно, что он и сам об этом думает.

– Уезжают же люди. Профессор твой уехал.

– Во-первых, я не профессор. Во-вторых, тогда были совсем другие времена.

– Времена были другие, – печально согласилась Ося.

Ночью Яник долго не мог заснуть, ворочался, вздыхал, то

вставал покурить в форточку, то шёл на жилую половину попить воды, ложился и опять вставал.

— Что ты? — сонно спросила Ося, когда он снова, то ли в третий, то ли в пятый раз, улёгся рядом.

— Не спится, — небрежно сказал он. — Бывает. Ты спи, спи.

Утром, когда Ося проснулась, Яника дома не было. Подавляя неприятное сосущее предчувствие грядущих бед, Ося подмела пепел с пола под форточкой, убрала со стола четыре пустых стакана из-под воды и отправилась на работу.

Всю оставшуюся жизнь, все сорок с лишним лет, что предстояло ей прожить на свете без Яника, Ося не могла простить себе этого разговора. Знала, понимала, что не в разговоре дело, что не разговором всё началось, а простить не могла. Только в сорок восьмом, когда рассказали ей, что органы заприметили Яника задолго до разговора, стало немного легче. Ненадолго.

## Вторая интерлюдия

Снег пошёл только к обеду, и Корнеев сказал, что скоро стемнеет, всё равно далеко не уйдём. Сам он вышел и вернулся через час, притащил двух зайцев – оказалось, утром он ходил ставить силки – и велел мне их освежевать. Я взял зайца, взял нож и понял, что никакая сила на свете не заставит меня полоснуть ножом по белому, пушистому, неживому уже комку. Корнеев посмотрел презрительно, забрал у меня нож, быстро и ловко разделал тушки, бросил в котелок с кипящей водой.

– Нам что, еды не хватает? – спросил я.

Корнеев не ответил, достал с полки банку с солью, бросил щепотку в котелок.

– Зачем тогда мы столько продуктов с собой тащим?

И снова он не ответил, только плечом дёрнул, и я пожалел, что спросил. Ссориться с ним никак было нельзя.

– Где ты научился так ловко шкуры снимать? – помолчав, спросил я подхалимским голосом.

– В тайге, – не поворачиваясь, буркнул он. – Тайга хорошо учит.

– А тебе не бывает скучно в тайге, Корнеев?

– Скучно в тайге? – недоумённо переспросил он. – В тайге не скучно, в тайге всё есть.

– Что есть?

– Всё, что человеку надо.

– Ты бы мог в тайге жить?

– Я и живу в тайге, – усмехнулся он. – В тайге живу, а дома гостюю.

– А в Том Городе ты бы мог жить?

– Это другое, – помедлив, сказал он. – Это не тайга.

– А ты там бывал?

– Рядом бывал, – сказал он, отошёл от печки и сел за стол. – Внутрь не всех пускают.

– Так, может, и нас не пустят?

– Не пустят.

– Так зачем мы туда идём?

– Ты попросил.

Я сел на нары, зажмурился, попытался понять, нарочно он меня доводит или просто так получается, потому что мы очень разные.

– Они сами к тебе придут, – сказал Корнеев. – Если поверят.

– А что надо сделать, чтобы они поверили?

– Правду скажи.

– Как ты узнал про Тот Город? – спросил я после паузы. – Брат рассказал?

Корнеев помолчал, сказал медленно, неохотно:

– Уходил он летом. Как каникулы, так уходит.

Слова были простые, но сказал он их так, словно открывал мне великую тайну и не был уверен, заслуживаю ли я такого

доверия. Боясь спугнуть его, я опустил глаза, он поёрзал на лавке, спросил:

– Баба эта, женщина, ну, что открытку тебе дала, она что, совсем ничего тебе не сказала?

– Она и не знала ничего, я же объяснял тебе. Просто получила открытку двенадцать лет спустя.

– Что ж она тогда не приехала?

– Боялась, наверное.

– Чего боялась?

– Я не знаю, Корнеев, честное слово, не знаю. Не мне её судить.

Он покачал головой, соглашаясь. Снова замолчал надолго, потом встал, подошёл к печке, помешал своё варево и заговорил:

– Малой я был, дурной. Хотел узнать, куда брат летом де-вается. Ежели на охоту, чего меня не берёт? Вот он пошёл, а я следом, по кустам. Он не охотник, брат, глаз у него не тот, не заметил меня. Три дня шли, я оголодал, всё ягоды ел, ружья-то не было у меня. Думаю, надо выйти, сказать ему, у него еды полно было, здоровенный мешок, едва тащил. Думаю, как он отдохнуть сядет, так и выйду. А тут нет его. Вот только шёл впереди – и нет, как в болото провалился. Я по-перву так и подумал – болото, потом смотрю – сухо вокруг. Совсем напугался, думал, Ягморт со мной шутит, лесной человек. Кричать начал, на помощь звать. Вдруг смотрю – брат стоит. Прямо передо мной стоит, злой такой, по затылку ме-



ня треснул, не ори, говорит, чего развопился. Я спрашиваю: «Тебя Ягморт забрал?» «Да, – говорит. – И тебя заберёт, ежели кому хоть слово скажешь».

Пошли мы обратно, а мешок с едой оставили, брат сказал – Ягморта задобрить. Пришли домой, мать ругается, плачет, отец ремнём приложил. А через два дня брат опять ушёл, на всё лето. Но я уж не пошёл за ним, боялся. Долго боялся. Дурной был.

Он замолчал, улыбнулся – я первый раз видел, как Корнеев улыбается, и ощущение было странное. Так, наверное, улыбался бы пушкинский Каменный гость – ломаной угловатой улыбкой, с трудом раздвигая каменные жёсткие губы.

Я сжался в комок, забился в угол нар, если бы мог, я бы сделался невидимым, только бы не помешать ему, не спугнуть. Он заглянул в котелок, сел за стол, дёрнул себя пару раз за ворот толстого свитера-самовяза, заговорил снова, всё ещё улыбаясь своей каменной улыбкой:

– Другой год брат приёмник раздобыл, «Турист», с собой взял. А он тяжёлый, да батареи ещё. Я говорю: «Зачем тебе в тайге приёмник?» Он мне – чтоб весело было, песни буду слушать. А сам даже коробку не открыл. Так в коробке в мешок и сунул. Вернулся через два месяца, принёс соболя четыре штуки. А приёмник не принёс, сказал, в тайге потерял. Отец его хвалит, смотри, говорит, Пётр какой охотник. Мне обидно стало, говорю: «Что ж вы меня за дурака-то держите, шкурки эти давно высушенные».

Отец рассердился, прогнал меня, я на печь залез, слышал, как они с братом всю ночь в сениях ругались. Утром брат говорит, пойдём, объясню тебе. Есть такое место, Тот Город называется. Там живут люди такие, что ни в каком другом месте жить не могут. Почему не могут – не спрашивай, не могут – и всё тут. Люди они хорошие, мы им помогаем как умеем. Но рассказывать про них никому нельзя, а то переловят их всех да в тюрьму посадят, а они там умрут. Вот и весь сказ.

В тот год зимой мы уж вместе пошли, еды им отнесть побольше. Три дня шли, на четвёртый откуда ни возьмись – мужик на лыжах. Забрал мешок у меня, сказал «благодарю» и ушёл с братом. А я домой вернулся. Обидно мне было, очень понять хотел, что это за люди, как они так живут. Но брату слово дал, надо держать.

Он снова замолчал, попробовал суп, причмокнул и велел:  
– Хватит языками чесать. Есть садимся. А потом спать завалимся, завтра засветло надо выйти, нам ещё полных пять дней ходу.

– Корнеев, – позвал я в темноте, когда мы поели, сбегали по нужде и залезли в свои мешки.

– М-м-м... – сонно отозвался он.

– Это мы им продукты тащим?

– Дотумкал, – сказал он. – Спать давай, чемпион, спать охота.

# Глава третья

## Яник

### 1

Через месяц после памятного разговора Яник сказал, что вечером идёт играть в преферанс с приятелями. Ося не удивилась, знала, что в трудные времена он подрабатывал, играя на деньги. Приближался день её рождения, она решила, что Яник хочет её побаловать. Вернулся он очень поздно, странно беспокойный и взъерошенный.

– Много проиграл? – осторожно спросила Ося.

– Проиграл? – удивился он. – А! Нет, не проиграл. Совсем не проиграл.

Больше он не стал ничего говорить, а Ося, по давно заведённому уговору, не стала расспрашивать. Через две недели он сказал, что вечером уходит снова, вернулся опять поздно и опять в непонятном настроении, возбуждённый и задумчивый одновременно.

– А кто там играет? – не удержалась ревнивая Ося. – Что за люди?

– Обычные люди, – рассеянно сказал он. – Хорошие люди. Посмотрел на Осю внимательно, засмеялся и добавил:

– Старички там играют. Даже старушек нет.

Осе сделалось стыдно, и больше она его не расспрашивала, хотя ходить он стал регулярно, а денег домой не приносил.

Летом тридцать четвёртого Ося забеременела. Яник детей не хотел, утверждал, что ни к чему плодить несчастных, и Ося целый месяц не решалась ему сказать. Наконец, сказала, в воскресенье утром, чтобы потом быть с ним вместе целый день. Он отошёл к окну, выкурил подряд три папиросы. Ося тихо сидела за столом, боясь шевельнуться, он подошёл к ней, провёл ладонью по волосам, сказал:

– Значит, судьба.

– Ты кого хочешь? – краснея, спросила Ося. – Мальчика или девочку?

– Девочку, – решительно ответил он. – Только девочку. Девочкам жить проще.

С тем, что девочкам жить проще, Ося не согласилась, но возражать не стала, слишком рада была, что он не сердится, что согласен оставить ребёнка. Яник походил по комнате, спросил, когда ребёнок должен родиться, сказал, что надо брать дополнительную работу в Детгизе, ребёнок – удовольствие дорогое.

– Я могу тебе помогать, – робко предложила Ося.

– Ты будешь много есть и много спать, – непререкаемым тоном заявил он. – Это сейчас твоя главная задача.

Беременность давалась Осе непросто. В трамваях и автобусах её укачивало, пешком ходить становилось всё тяжелее, до работы она добиралась с трудом и норму выполняла еле-еле. От занятий у Филонова пришлось отказаться – со своей обычной требовательностью он не делал ей никаких скидок, утверждал, что работать, хоть десять минут в день, можно в любом состоянии. Было грустно, и Ося пообещала себе, что это ненадолго, что она непременно вернётся к мастеру.

Яник встречал её с работы, ходил с ней вместе на базар, мыл полы, взялся даже гладить её вещи, но делал это так неумело, что Ося не выдержала, отобрала у него утюг. Как-то в квартирном коридоре встретился ей Коля Аржанов, глянул брезгливо на её живот, спросил презрительно:

– Личной жизнью занимаешься, Ярмошевская? Давай, давай, занимайся, пока мы тут страну индустриализируем.

Ося не нашлась, что ответить, мышкой скользнула в свою комнату, вспомнила давние соседкины слова, подумала, что не променяла бы и один день с Яником на длинную благополучную жизнь с Колей.

Осе хотелось назвать девочку Барбарой в честь матери, но Яник воспротивился решительно. Сказал, что они с Осей – это одно, а ребёнок – совсем другое, и имя ей нужно дать простое, русское, а ещё лучше – советское.

Тут заупрямилась Ося, называть девочку Октябриной или Баррикадой отказалась наотрез. Сошлись на Нинель<sup>27</sup>, ес-

---

<sup>27</sup> Нинель – Ленин наоборот.

ли девочка будет брюнеткой, или Марлен<sup>28</sup>, если родится со светлыми волосиками. Потом долго спорили, где поставить кроватку. Ося хотела на спальней половине, Яник утверждал, что с первых дней ребёнка надо приучать к самодостаточности. В таких смешных и трогательных спорах пролетели два месяца. Ребёнок всю толкался в животе, и Ося каждый раз замирала в восторге и страхе при мысли, что в ней самой, прямо внутри неё, есть другая жизнь, другое, совершенно отдельное существо.

Как-то ночью, проснувшись от того, что ребёнок толкался особенно сильно, она обнаружила, что Яника рядом нет. Набросив халат, она осторожно выглянула за занавеску, на жилую половину. Яник сидел у стола, разглядывал старые свои работы, которые много раз порывался то выкинуть, то сжечь, но Ося всякий раз его отговаривала. Почувствовав Осин взгляд, он поднял глаза, сказал странным, почти извиняющимся тоном:

– Когда есть дети, это важно – что оставишь.

Ося кивнула, вернулась в спальную половину. Села на кровать, поблагодарила, сама не зная кого – Бога, судьбу, небеса, и снова уснула.

Первого декабря, вернувшись с работы, Ося прилегла отдохнуть, Яник отправился на общую кухню поставить чайник. Ося задремала, проснулась через полчаса в полной тем-

---

<sup>28</sup> Сокращение от Маркс – Ленин.

ноте. Ни Яника, ни чайника в комнате не было. Из коридора доносился ровный невнятный шум. Она встала, закуталась в платок, выглянула в коридор. Коридор и кухня были полны народу, все стояли мрачные, подавленные, многие женщины плакали – кто навзрыд, а кто, по-деревенски, в платок.

– Что случилось? – осторожно спросила Ося.

Одна из соседок отвернулась от неё, другая сказала быстро: «Кирова убили», – и тоже отвернулась. Ося ахнула, прислонилась к стене, спросила:

– Как? Кто?

– Такие же контрики, как ты с твоим хахалем, – сказал стоявший неподалёку Коля. – Которые не желают трудиться во имя революции, а малюют свои буржуйские картинки. Которым верный сталинец товарищ Киров, непримиримый борец со всяческой контрой, что бельмо на глазу.

Ося даже задохнулась от несправедливости обвинения, но, прежде чем она перевела дух, прежде чем нашлись слова возразить Коле, сквозь забитый людьми коридор протиснулся Яник, взял её под руку и осторожно, но настойчиво увёл в комнату.

Этой ночью они не спали. Ося сидела на кровати, кутаясь в материн ещё, некогда пуховый, а нынче почти прозрачный платок. Яник расхаживал по комнате, курил одну за другой папиросы, стряхивал пепел куда попало, Ося не замечала. За три последних часа они не сказали друг другу ни слова. Наконец, Ося не выдержала, спросила шёпотом:

– Что теперь будет?

– Не знаю, – сказал Яник. – Не знаю.

Потом подошёл к ней, привычным, любимым ею жестом взял её лицо в ладони, сказал:

– Хуже не будет. Если начнут сажать, то скоро. И пусть сажают, невозможно так дальше жить. Это не жизнь. То, что ты беременна, тоже хорошо, пожалеют, не посадят. Не звери же они совсем.

Помолчал и добавил уже не так уверенно:

– А может быть, и совсем.

– Давай сбежим, – предложила Ося. – В Сибирь уедем или на Дальний Восток.

– Зачем? – усмехнулся он. – В Сибирь или на Дальний Восток тебя и так отправят, за казённый счёт. Не хочу я всю жизнь прятаться. Да и не спрячешься с ребёнком.

Арестовали его через два месяца. Поздно вечером, к полуночи, властно постучали в дверь. Ося уже спала, Яник сидел на жилой половине, подшивал новые подошвы к Осиным стареньким валенкам. Ося проснулась от стука, вскочила, закружилась голова, она ухватила за спинку кровати, Яник подошёл к ней близко-близко, сказал: «Прости меня, девочка, я не смог...» Стук повторился, он притянул Осю к себе, поцеловал, усадил осторожно на кровать. «Открывайте немедленно!» – приказали из-за двери. Яник подошёл к двери, повернул ключ. Вошли четыре человека: дворник дядя



Костя, двое мужчин в форме с погонами и сосед из комнаты напротив, в пиджаке, кальсонах и тапочках не на ту ногу. Ося накинула халат, заметалась по комнате: собрать еды какой-никакой, вещи.

Обыск длился три часа. С вещами разобрались быстро, зато с книгами и картинами возились долго, разглядывали внимательно сначала все Яникины, потом все Осины работы. Рассмотрев, небрежно бросали на стол. Листы скользили, сыпались на пол, разлетались по комнате, их не поднимали. Один из людей в погонах, коренастый, рябой и курносый человек неопределённого возраста, переходя из жилой половины в спальную, прошёлся по ним мокрым сапогом. Яник поморщился, как от боли, но ничего не сказал.

– Глянь-ка, – крикнул курносый из спальни. – Точно, контры.

Он вышел, вынес заветный альбомчик с фотографиями, показал второму.

– Видишь, какие буржуи.

– Это семейный альбом, – беспомощно сказала Ося. – Это мои родители.

– Ясное дело, – сказал курносый. – Происхождение ваше понятное.

Яник бросил на Осю быстрый взгляд, резкий и чёткий, как удар хлыста, сказал негромко:

– Nie waż się upokorzyć przed nimi<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Не смей перед ними унижаться (польск.).

– Не по-русски не говорить! – прикрикнул курносый, ткнув Яника кулаком. – Вот ведь контрики какие, сговариваются.

Закончили обыск только под утро, приказали Янику одеваться, Ося сунула ему в руки наскоро собранный старый вещмешок со сменой белья, двумя варёными картошками, оставшимися от ужина, буханкой хлеба и бритвой.

– Мыла положь, – сказал дядя Костя, – и луковку. И соли насыпь. Бритву вынь, отымут.

Ося послушно сложила две луковицы и брусок серого хозяйственного мыла, завязала в тряпочку немного соли.

– Подпишитесь вот здесь, – приказал Янику второй человек в погонах.

– Что это? – брезгливо поинтересовался Яник.

– Что ознакомлены, – коротко ответил тот.

Яник хотел было возразить, но махнул рукой, подписал, не читая, натянул куцее своё пальтишко. Ося бросилась к нему, обняла, вцепилась. Невозможно было его отпустить, он не мог уйти от неё, оставить её одну. Яник осторожно высвободился, взял её руки в свои, поцеловал, хотел сказать что-то, не смог, отвернулся, сделал два шага к двери, остановился. Ося снова рванулась к нему, курносый не пустил, силой усадил на стул, стоявший у двери, сказал насмешливо:

– Фу-ты ну-ты, какие нежности.

Второй, главный, глянул на него через плечо, и тот отошёл, но Ося уже не встала со стула, не смогла. Яник вдруг

сказал громким ясным голосом:

– Пять лет счастья – это так много. Это очень много, Ося. Нам повезло. Kocham cię<sup>30</sup>.

Это были последние слова, которые она от него слышала.

Хлопнула дверь. Ося сползла со стула на пол, попыталась собрать Яникины работы, подняла свой портрет, словно перечёркнутый грязным следом огромного сапога, зарыдала, забилась в истерику. Кто-то успокаивал её, подталкивал кружку с водой к её стиснутым губам, упрашивал: «Ну, будет, будет». Она раскрыла глаза, увидела соседа, Дмитрия Васильевича.

– Голубушка, я всё понимаю, – страдальчески морщась, сказал он. – Но ребёнок. Вы должны ради ребёнка.

Он помог Осе встать, довёл её до кровати, уложил, укрыл одеялом, предложил:

– Я приду вас провести завтра вечером. Позже.

Всё его доброе, милое лицо исказилось от этого усилия, страх сидел в каждой его морщине, в глазах, в трясущихся руках, которые он сжал перед собой, будто молился, в высоком визгливом голосе.

– Спасибо, – сказала Ося. – В этом нет необходимости, я уже успокоилась. Вы правы, я должна думать о ребёнке.

Он не стал настаивать, попрощался и быстро вышел из комнаты.

---

<sup>30</sup> Я люблю тебя (*польск.*).

Утром Ося отправилась в приёмную НКВД.

В огромном зале с колоннами, напоминавшем то ли театральное фойе, то ли вокзал, стояла и сидела бесконечная молчаливая очередь – очередь людей, ещё не потерявших надежды, а потому испуганно сторонящихся друг друга. Впрочем, сторонились не все. Были и такие, кто исступлённо расспрашивал всех подряд в попытке найти сходство, в надежде понять настоящее и предсказать будущее. Говорили такие люди быстрым лихорадочным полусшёпотом, и в зале всё время стоял ровный негромкий гул, напоминавший Осе звук водопада. Где-то вдалеке, в самой голове очереди, раз в минуту звенел пронзительный, неприятный звонок. Пахло в зале острым, перцовым запахом страха. В этой жуткой очереди, полуживой от неизвестности и горя, Ося простояла семь часов, пока не добралась до равнодушного усталого человека в форме. Не поднимая на Осю глаз, человек провёл толстым пальцем по бесконечному списку, сказал: «Тарновский Ян Витольдович. Шпалерная, 25». «В чём его обвиняют?» – спросила Ося, но окошко захлопнулось, и её оттеснили.

На следующее утро Ося отправилась на Шпалерную. Было холодно, люди прятались в парадном напротив тюрьмы, говорили шёпотом, чтобы жильцы не выгнали на улицу, и только об одном – кого, когда, как и за что. Ося слушала,

но участия в разговоре не принимала – у неё просто не было сил говорить. В восемь утра открылись двери тюрьмы, люди высыпали из соседних парадных, выстроились тонкой угрюмой цепочкой. Отстояв три часа, Ося поняла, что принимают только буквы Л и М, а Т будут принимать через четыре дня. Наслушавшись, как издеваются энкавэдэшники над родственниками, как говорят неправду, посылают не в ту тюрьму, она решила стоять всё равно, пусть передачу не возьмут, но хотя бы скажут, что Яник здесь.

– Ничего они тебе не скажут, – угрюмо предупредила стоявшая вслед за ней пожилая женщина. – Зря маешься.

– Я попрошу, – сказала Ося. – Может, пожалеют, скажут. Женщина вздохнула и отвернулась. Подошла Осина очередь. Человек, сидящий по ту сторону крошечного зарешеченного окошка, сказал раздражённо:

– Буква Т – пятнадцатого, сколько можно говорить.  
– Извините, – стараясь сдержать слёзы, попросила Ося. – Я в первый раз. Мне бы только узнать, пожалуйста, он здесь?

Человек поднял голову, но серая стена вдруг поехала у Оси перед глазами, сначала вправо, потом влево. Чтобы не упасть, она вцепилась в подоконник, повторила умоляюще: «Пожалуйста». Человек за окошком глянул на неё ещё раз, открыл другую амбарную книгу, такую же толстую, буркнул: «Здесь. Не задерживайте, гражданка». Ося вышла на улицу, прислонилась к стене. Было странно думать, что Яник – совсем близко, в этом здании, может быть, прямо за этой сте-

ной.

– Я рядом, – сказала ему Ося, – я здесь.

Пятнадцатого числа, отстояв шесть часов, она заполнила анкету на передачу, отдала человеку за окном тридцать рублей, расписалась. Ни еду, ни одежду не приняли. Женщины в очереди посоветовали сходить к прокурору. Ося послушно записалась на приём.

С работы Осю уволили; официально – за прогулы в первые три дня после ареста Яника, но и ей самой, и увольнявшему её мастеру, который за три минуты разговора ни разу не посмотрел ей в глаза, было ясно, что дело не в прогулах. «Сходи в профсоюз, – посоветовала подруга. – Куда это годится, беременную бабу на улицу выкидывать». Ребёнок все сильнее толкался в животе, и Ося отправилась в профком, где немолодая, коротко стриженная женщина сказала ей:

– Закон один для всех, для беременных тоже. Если бы вы были больны, со справкой, тогда, конечно, другое дело. Необходимо заранее предупреждать, что не можете выйти на работу, а впоследствии нужно предоставить справку.

– Я должна была заранее предупредить вас, что именно в этот день арестуют моего мужа? – спросила Ося и сама удивилась и тому, что сказала, и тому, как совершенно по-яниковски это прозвучало.

Женщина смешалась, но быстро оправилась, ответила:

– Но вас же не арестовали. Вы могли выйти на работу.

Ося помолчала, снова вспомнила о ребёнке, сказала, опустив голову, презирая себя, стараясь не думать о Янике:

– Вы понимаете, что выкидываете меня на улицу, что в таком состоянии и с мужем в тюрьме никто меня на работу не возьмёт?

– Сожалею, – сказала женщина, – но помочь не могу. Закон есть закон.

Ося встала, набросила платок.

– Постойте, – вдруг сказала женщина. – Если вы готовы публично отречься от мужа, мы созовём собрание или просто заседание профкома и...

– Не готова, – перебила Ося. – Ни в профкоме, ни публично, нигде и никогда. Мой муж – один из самых порядочных людей, которых я знаю, и я уверена, что ничего недостойного он сделать не мог.

Женщина молчала, смотрела на неё во все глаза. Ося вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько дней после этого разговора Ося просидела дома, тупо глядя в стену. Потом отправилась в Детгиз, объяснила, что Яника арестовали, предложила доделать его заказ.

– Где он сидит? – спросила редактор, пожилая женщина с простым, грубоватым лицом и изысканно-вежливыми манерами.

– На Шпалерной, – ответила Ося.

– По какой статье?

– Не знаю, он ещё под следствием.

– Вы были у прокурора?

– У меня через неделю очередь, – сказала Ося, закусив губу. Впервые за последние три недели с ней разговаривали на равных, без страха, без отчуждённости, без презрения.

– Держите меня в курсе, – попросила женщина. – Ваш муж – очень талантливый человек, и мне небезразлична его судьба.

Она взяла принесённую Осей папку с работами, перелистала, сказала:

– Начинайте работать. Старайтесь придерживаться его стиля. С оформлением мы что-нибудь придумаем. Вам нужен аванс?

– Ему уже выдали аванс, – напомнила Ося.

Женщина достала из ящика стола двести рублей и протянула их Осе, велела «возьмите» и повторила, видя, что Ося медлит:

– Возьмите. Это не жалость. Это уважение к таланту Яна Витольдовича. Я его друг, я имею право помочь его жене и ребёнку.

Ося взяла деньги, попрощалась, помедлила у двери, не умея и не смея высказать всё, чем полна была душа.

– Когда-нибудь это кончится, непременно кончится, – негромко сказала женщина.

– Когда? – едва слышно спросила Ося.

Женщина улыбнулась печально, зазвонил телефон, она



взяла трубку, Ося ещё раз попрощалась и вышла из комнаты.

Неделю спустя в большом светлом кабинете высокий, кудрявый, равнодушно-любезный блондин прокурор, совсем молодой, вряд ли намного старше Яника, сказал ей внушительно:

– Ваш муж под следствием, он подозревается в государственной измене. Пока идёт следствие, письма, свидания и передачи не разрешаются. Только денежные переводы раз в месяц.

– Этого не может быть, – сказала Ося. – Это ошибка. Он никогда... Я знаю его, это мой муж...

– Я бы не советовал вам быть настолько уверенной, – усмехнулся блондин. – Недостаток бдительности – это тоже преступление.

Ося сглотнула слезы, нельзя было, ни за что нельзя было плакать перед этим человеком, Яник никогда бы ей этого не простил. Прокурор постучал по столу костяшками пальцев.

– Как долго будет идти следствие? – спросила Ося.

– Месяца три, четыре. Может, полгода. Зависит от того, насколько ваш муж будет сотрудничать со следствием.

Ося попрощалась, вышла в длинный светлый коридор, забитый серыми, одинаковыми в своём горе посетителями, покачнулась, её поддержали, усадили на стул, дали воды.

Высокая статная женщина, вышедшая из соседнего кабинета, сказала:

– Пойдёмте, голубушка, я провожу вас до дома. Меня Татьяной Владимировной зовут, я к вам давно приглядываюсь, ведь по одним дорожкам ходим.

По пути она рассказала, что тоже хлопочет за мужа, какого-то большого начальника в порту, что мужа посадили на третий день после убийства Кирова, что она уже трижды была на встрече с прокурором и один раз виделась со следователем.

– Хлопотать надо, голубушка, – сказала она. – Всех своих знакомых привлечите. Не все согласятся, конечно, но это помогает, я знаю.

– У меня нет никаких знакомых, – устало сказала Ося. – У меня никого нет.

– Ну как же, – сказала Татьяна Владимировна. – Семья, да приятели всякие, да соседи. Кто-нибудь да найдётся при портфеле, замолвит словечко.

Ося не ответила. В полном молчании они доехали до Осиной остановки, дошли до дома, Татьяна Владимировна попросила напоить её чаем. Осе не хотелось никого видеть, но отказать было неловко. После чая Татьяна Владимировна оглядела внимательно полупустую Осину комнату, из которой исчезло за последний месяц всё, что могло быть продано, велела:

– Расскажи-ка мне, милая моя, что случилось.

Ося рассказала, не было сил сопротивляться этой властной, уверенной в себе женщине. Татьяна Владимировна слу-

шала молча, не перебивая и не переспрашивая, а выслушав, сказала уверенно:

– Уезжать тебе надо, голубушка. Чем быстрее, тем лучше.

– А как же муж?

– Ему ты не поможешь, а себе и дитю – навредишь. Посуди сама, чего бы он хотел для тебя – чтоб ты себя уморила в этих очередях? Или чтоб ребёнка ему родила и вырастила?

– Но вы же не уезжаете.

– Я – другое дело, я со своим Иван Антонычем душа в душу тридцать лет прожила, я уж его не оставлю. А ты – молодая, интересная, образованная, можешь ещё жизнь устроить. Не думаешь о себе – о ребёнке подумай, это ведь не только твоё, это и мужа твоего дитя. Не приведи Господи, случись что с твоим Яником – только и останется от него, что ребёнок.

– Вы же сами мне предложили хлопотать, – удивилась Ося.

– Это я предложила, когда не знала ничего. А сейчас, когда знаю, точно тебе говорю: уезжай, не задумывайся. Ну, хочешь – я буду мужу твоему передачи носить, буква у нас одна, всё равно в очередях этих торчу, как-нибудь уж устроюсь.

Она велела Осе подумать, написала свой адрес на старом конверте и ушла. Ося осталась одна и долго сидела в сумерках, не зажигая света, перебирая в уме всех своих и Яникиных знакомых, даже очень давних и случайных. Под конец

она подумала о Филонове, усмехнулась невесело – все её известные знакомые скорее могли навредить, чем помочь. И если думать о том, чего хотел бы Яник, то уж точно не унижительных хождений по знакомым с просьбой о заступничестве. Но ведь Яник не знает, напомнила она сама себе, и никогда не узнает, если она не расскажет. Она легла на кровать, ещё раз перебрала в уме знакомых, оставила семь человек, начала размышлять, как до них добраться и что им сказать, прикидывать, кто откажется сразу, с порога, а кто может и попытаться, пусть не просить за Яника, но хотя бы разузнать, в чём конкретно его обвиняют.

Так размышляла она всю ночь, пытаясь убедить себя, что не всё потеряно, что она обязана, должна сходить к этим людям, попросить их, объяснить им. Ругала себя, что так бесцельно потратила месяц с лишним, высчитывала, сколько времени ей понадобится, чтобы всех их обойти.

Под утро, встав с кровати, чтобы попить воды, она поняла с кристальной, пророческой ясностью, что все её хлопоты, и хождения, и мольбы абсолютно ничего не изменят. Всё равно она решила сходить.

Первым в её списке был Яникин приятель, тот самый, вместе с которым Яник прожил шесть лет и который работал теперь архитектором в известном проектном бюро. Приятель согласился встретиться с ней в обеденный перерыв в Гостином дворе и, не дожидаясь её просьб и не задавая никаких вопросов, чётко и быстро пояснил, что про арест знает, но

у него семья, жена и маленький сын, и в первую очередь он обязан заботиться именно о них. Поэтому всякое дальнейшее общение он считает нежелательным, а если она будет настаивать, ему придётся поставить в известность соответствующие органы.

Ося не удивилась и не расстроилась, просто вычеркнула его из мысленного списка и сосредоточилась на следующем кандидате: материной подруге по АРА, чей муж был большой шишкой в Наркоминделе. Подруга приняла её сочувственно, почти тепло, напоила чаем с вареньем, пригласила приходить, сказала, что готова помочь материально и купить ребёнку вещи в Торгсине, но к мужу обращаться отказалась категорически, поскольку у него и без того на работе неприятности.

Вычеркнув и её из списка, Ося отправилась в Детгиз, к той самой редакторше, что отнеслась к ней так сочувственно. Редакторша выслушала её молча, вертя в руках папиросу, которую так и не закурила, видимо, из уважения к Осину состоянию, сказала тихо:

– Ольга Станиславовна, я уже пыталась выяснять везде, где только могла. Я не рассказывала вам по той простой причине, что рассказывать нечего. Никто ничего толком не знает. Он сидит, насколько я понимаю, за происхождение, пошла новая волна, за это опять сажают, и тут ничего нельзя поделать. Только надеяться на чудо или на счастливый случай. Пока что за происхождение не расстреливают, скорее

всего, его сошлют куда-нибудь в Кокчетав или в Вилуйск, и вы сможете к нему приехать или хотя бы написать, так что берегите себя.

Ося вернулась домой, достала старый школьный атлас, до-революционный, подаренный ещё Анной Николаевной, нашла Вилуйск, нашла Кокчетав. На душе у неё стало немного легче: люди живут везде, и они с Яником выживут.

Прошло ещё две недели. Ося доделала детгизовский заказ, полученные деньги поделила пополам, половину отложила для Яника, на половину купила немного детских вещей: пелёнки, распашонки – самое необходимое. Подруга по Ломоносовской фабрике привела её в полуподпольную артель, где расписывали под гжель грубые дешёвые кувшины. Платили гроши, и работали в артели в основном такие же, как она, бесправные люди с сомнительным прошлым.

Пятнадцатого числа следующего месяца у неё отказались принимать передачу.

– В списках не числится, – сказал человек в окошке.

– Но как же, где же он? – растерялась Ося.

– Не могу знать. Проходите, гражданка, не задерживайте.

Ося вышла на улицу, встала у входа и простояла там четыре с лишним часа, внимательно вглядываясь в каждую проходящую мимо женщину. Татьяны Владимировны не было. Ося села на трамвай, доехала до дома, достала из стола бумажку с адресом и отправилась на другой конец города, в Стрельну. Ей повезло, она легко нашла нужный дом, и Татьяна Владимировна сама открыла дверь.

– Яник в списках не числится, – сказала Ося вместо приветствия.

Татьяна Владимировна кивнула, провела её в комнату,

усадила на диван, налила чашку крепкого душистого чая, сказала:

– Ну что ты так переживаешь, милая, смотреть на тебя больно. Наверно, следствие закончилось, к суду готовят, только и всего. Ежели к суду готовят, то обычно в Кресты переводят. Завтра сходим в Кресты, узнаем.

– Спасибо вам, – сказала Ося, вставая.

– Оставайся-ка ты у меня, – велела Татьяна Владимировна, – нечего тебе на сносях по ночам шляться.

Ося не стала спорить, послушно легла на диван, укрылась пледом. Ночью у неё начались сильные боли внизу живота. Ося испугалась, поскорее оделась, вышла в коридор, но до двери дойти не смогла, прислонилась к стене, медленно сползла на пол, зажимая рот кулаком, чтобы не закричать. Татьяна Владимировна в расшитой ночной рубашке выглянула в коридор, увидела сидящую на полу Осю, под которой медленно расплывалось влажное пятно, охнула и побежала к телефону.

Скорая помощь приехала быстро, повезла в Николаевскую больницу, где целые сутки какие-то люди сустились вокруг измученной, плохо соображающей от боли Оси, пока не пришёл очень большой и толстый человек, который помял Осин живот и велел немедленно везти её в операционную.

Очнувшись, Ося долго не могла понять, где она и что с ней. Лежала она на пружинной кровати в большой светлой



комнате, явно не одна, потому что где-то совсем близко звучали женские голоса. Некоторое время она лежала молча, потом попыталась сесть и не смогла, скосила глаза – руки её были привязаны к кровати широкими тряпичными жгутами. Она подвигала ногами, ноги тоже были привязаны.

– Глянь, новенькая проснулась, – засмеялся совсем рядом кто-то молодой и весёлый. – Санитарку, что ли, позвать. – И, не дожидаясь ответа, закричал громко: – Эй, санитарка! В шестую зайди.

– Где я? – откашлявшись, спросила Ося.

– В родилке, – отозвался молодой голос. – Сутки, как спишь, от наркозу отходишь. Привязали тебя, чтоб не повредила. Санитарку позвала я, сейчас заявится, развяжет тебя. А хочешь, я развяжу?

Пришла санитарка, развязала жгуты, выдала Осе халат.

– Где мой ребёнок? – спросила Ося.

– Это тебе, милая, врач скажет, – ответила санитарка, не глядя на Осю. – Сейчас кликну его.

Она ушла. Ося села, надела халат, огляделась. В комнате стояло четыре кровати. Две дальних были пусты, одна ровно застелена, на другой лежала большая сумка и раскрытая книга. На кровати напротив сидела молоденькая, моложе Оси, девчонка, грызла морковку, разглядывала Осю весёлыми любопытными глазами.

– Какое сегодня число? – спросила Ося.

– Восемнадцатое, – охотно отозвалась та. – Я ж говорю,

сутки спишь.

Ося попыталась встать, но ноги не держали, пришлось снова сесть на кровать. Пришёл врач, велел ей лечь, помял живот, посчитал пульс, спросил, как она себя чувствует.

– Где мой ребёнок? – потребовала Ося вместо ответа.

– Кочкина, сходи-ка ты чаю попей, – приказал врач весёлой девчонке, прикрыл за ней дверь, сел на стул возле Осиной кровати, взял Осю за руку, сказал:

– К сожалению, мальчика спасти не удалось. Незрелость дыхательной системы и, как результат, гипоксия. Попросту говоря, ребёнок не смог дышать самостоятельно.

– Почему? – шёпотом спросила Ося.

– Так бывает, – мягко сказал врач. – Особенно с мальчиками. Особенно когда роды начинаются раньше срока. Но с вами всё в порядке, вы вполне сможете рожать ещё, и не раз. Вы молоды, у вас ещё непременно будут дети.

Ося отвернулась к стене, закрыла глаза, ощущая какую-то абсолютную, страшную, чёрную, бессмысленную пустоту везде – и внутри, и вокруг.

– Я велю сделать вам укол снотворного. Так будет легче, – сказал врач и вышел из палаты.

Из больницы Осю отпустили через неделю. Встречала её Татьяна Владимировна. Крепко обняла, прижала к себе надолго, сказала:

– Ничего, ничего, будет и на нашей улице праздник. Давай

пойдёмся немного, ты как, в силах?

Ося не ответила, покорно пошла вслед за ней на берег Ольгина пруда, села на лавочку.

— Ты голову-то не вешай, — сказала Татьяна Владимировна. — Наше дело женское, всякое бывает. Наш с Ваней первенец в три года помер. Воспаление лёгких. У матери моей двое померло. У сестры и того больше, в Гражданскую.

Ося слушала и не слышала, глядела бездумно на бегущую по воде рябь, на нежную свежую листву на деревьях. Ещё в больнице она поняла, что есть только один смысл, одна цель во всей её дальнейшей жизни — помочь Янику, всё остальное неважно и неинтересно.

Татьяна Владимировна посидела с ней полчаса, так и не дождавшись ответа, проводила Осю до автобуса и ушла.

Ося вернулась домой, открыла общую дверь, прошла в свою комнату, сопровождаемая любопытными взглядами соседа, села на стул и долго молча сидела, ни о чём не думая и ничего не ощущая. Потом легла на кровать и принялась терпеливо ждать, когда наступит утро.

Утром она отправилась в Кресты, отстояла четыре часа в очереди, но передачу не приняли: Яника там не было. Вернувшись домой в три часа, она наскоро перекусила чёрствым, ещё до больницы купленным хлебом и побежала в артель. На следующее утро она отстояла шесть часов в очереди в Арсенальную, Яника не было и там. Не было его и в Нижегородском изоляторе. Все выходные она пролежала на

кровати, укрывшись с головой одеялом, а рано утром в понедельник пошла в приёмную НКВД. Просидев семь часов, полуживая от усталости и голода, она получила справку, что Яника вернули на Шпалерную в связи с исследованием. Едва дождавшись утра, она побежала на Шпалерную. «Буква Т – пятнадцатого», – привычно-раздражённо повторил человек в окошке.

Две недели она работала по пятнадцать часов в сутки, так можно было ни о чём не думать, а деньги могли пригодиться Янику. Пятнадцатого в шесть утра она уже стояла в привычной молчаливой очереди. Передачу приняли. На дрожащих ногах Ося выбралась из очереди, дошла, сама не помня как, до Таврического сада, села на скамейку. Яник был жив, и он всё ещё был в Ленинграде. Ей хотелось плакать, но слёз не было, слёзы кончились в больнице.

Следующие полгода слились для Оси в одну сплошную очередь. Шпалерная с передачами, приёмная НКВД с неизменным ответом «Под следствием», снова Шпалерная, приёмная прокурора с тем же неизменным ответом. В один из визитов в НКВД вместо обычного грубоватого майора её принял молодой щеголеватый капитан, выслушал без особого интереса её уверения, что Яник ни в чём не виноват, сказал сухо, что следствие разберётся. В комнату вошёл ещё один человек, капитан оживился, сказал Осе со смешком: «А вот и следователь вашего мужа, его и спросите, в чём мужа

обвиняют». Вошедший глянул неодобрительно, сказал нехотя:

– Тарновский? Ваш муж обвиняется в контрреволюционной деятельности и измене Родине.

– На каких основаниях? – спросила Ося.

– На основании его участия в контрреволюционном заговоре, – ответил следователь и вышел из комнаты.

– Вы можете облегчить участь мужа, если поможете следствию, – сказал капитан. – Вспомните, где ваш муж бывал, с кем общался.

– Не думаю, что мой муж будет рад облегчить свою участь ценой доноса, – сказала Ося.

– Я думаю, что вы ошибаетесь, – ласково сказал капитан. – Я думаю, что он будет рад всему, что может облегчить его участь.

Ося представила, что такие ласковые капитаны вытворяют в своих застенках, тряхнула головой, отгоняя ледяной, парализующий страх.

– Подумайте ещё раз, – вставая из-за стола, предложил капитан.

– Вряд ли я приду к другому выводу, – собрав всё своё мужество, сухо ответила Ося.

Пятнадцатого декабря у неё снова отказались взять передачу. Утром следующего дня она отправилась уже привычным маршрутом в приёмную НКВД, где ей выдали справ-

ку, что «Тарновский Ян Витольдович, 1905 года рождения, беспартийный, из дворян, осуждён по ст. 58 п. 7, 8, 11, 17 УК РСФСР за вредительство, соучастие в терроре, участие в контрреволюционной организации и приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей без права переписки и к пяти годам поражения в правах».

Ося прочитала справку три раза подряд, спрятала за пазуху, потом достала и перечитала ещё раз. Через пять лет ей будет тридцать, а Янику тридцать пять. Он напишет ей из места ссылки, и она тут же к нему приедет. Всё ещё может быть хорошо. Но напишет ли он? Или предпочтёт страдать в одиночку где-нибудь в Казахстане, в Сибири, за Полярным кругом? Наверное, не напишет, он же думает, что она растит ребёнка. И будет так думать ещё пять лет. Она вытерла варежкой слёзы, снова спрятала листок за пазуху. Если бы знать, куда его отправили, она могла бы поехать туда прямо сейчас. Даже если им запретят видеться, всегда может подвернуться случай. Но как узнать?

Решив посоветоваться с Татьяной Владимировной, которую вот уже несколько месяцев как перестала встречать в очередях, Ося отправилась на Стрельну. Дверь открыла незнакомая женщина, сказала, что Татьяны Владимировны нет и не будет, что она уехала.

– Куда? – спросила Ося.

Женщина огляделась, прислушалась – в подъезде было тихо, пусто.

– Туда, откуда Магадан виден, – быстро сказала она и захлопнула дверь.

Ося постояла, собираясь с мыслями, затянула платок, подумала, что друзей и знакомых по ту сторону у неё скоро будет больше, чем по эту, вышла на улицу и направилась к остановке. Автобус приехал через час, и ещё почти час она тряслась в битком набитом салоне, не выдержала, вышла недалеко от площади Урицкого, пошла пешком. На площади устанавливали ёлку – первый раз за много лет, и возле огромного дерева собралась приличная толпа зевак. Высоченное, в три этажа, дерево стояло в лесах, рабочие сновали по ним вверх-вниз, обвешивая ёлку бутафорскими колбасами, шоколадными бомбами и прочими символами изобилия. Ёлки разрешили неожиданно, всего за два дня до праздника, и шаров не было – их просто не успели выдуть. У подножия, на бутафорском льду, лежали огромные цифры: «1936».

## Третья интерлюдия

Корнеев разбудил меня в пять утра. – С ума сошёл, – не вставая с нар, сказал я. – Ты ж сказал, засветло, посмотри в окно.

– Снег идёт, – ответил он, ставя на печку котелок.

Я вылез из спальника, потянулся. Ноги и руки болели намного меньше, только в икрах и в плечах отдавало при каждом резком движении.

– Я готов, – сказал я. – Мне собираться нечего.

– Есть садись, – велел Корнеев. – Нынче долго пойдём, давай наворачивай.

– Не хочу я есть в пять утра, – жалобно сказал я. Корнеев не ответил.

Я вышел во двор, протёр лицо снегом. Снег валил огромными липкими хлопьями, похожими на экзотических насекомых. Ни следа, ни звука не было вокруг – абсолютная тишина, темнота и пустота. Я вдруг показался себе инопланетянином, одиноким и потерянным на неизвестной планете. Постояв ещё пару минут в этом космическом одиночестве, я вернулся в избушку. Корнеев хлебал вчерашний суп, я пристроился рядом, вылил в миску остаток густого жирного бульона.

Корнеев доел, выпил две кружки своего крепчайшего чая, быстро и ловко упаковал наше хозяйство. Без четверти



шесть мы вышли из зимовья, подпёрли дверь здоровенной балясиной, надели лыжи.

– Сейчас быстро пойдём, – сказал Корнеев. – Не отстань, чемпион.

Он уехал вперёд прокладывать лыжню, я заскользил следом, стараясь не потерять лыжню в предрассветных потёмках. За следующие четыре часа мы не сказали друг другу и трёх слов. В десять Корнеев устроил привал. Мы сели на ствол поваленной ели, пожевали сухари, глотнули горячего чая из корнеевской армейской фляги. Он хлопнул меня по плечу и велел:

– Вставай, теперь ещё быстрее покатым.

В два часа он устроил ещё один привал, но костёр разжигать опять отказался. Снег всё валил, липкий, влажный, и я подумал, что, если бы не подбитые камусом лыжи, мы бы и ста метров не смогли пройти.

До зимовья мы добрались в полной темноте. Я сбросил лыжи, ввалился в избушку, в которой Корнеев уже затопил буржуйку, рухнул на пол и четверть часа просто лежал так, пока мне не сделалось нестерпимо жарко и не пришлось сесть и стащить куртку. Корнеев что-то мешал в котелке, время от времени на меня поглядывая. Посидев немного, я встал, разделся, надел сухую рубашку, спросил:

– Сколько мы сегодня прошли, Корнеев?

– С три чемкэста будет.

– Двадцать километров? – ахнул я.

Корнеев не ответил, наложил две громадные миски пшённой каши, бросил в них по тоненькой полоске сала и помазил меня к столу.

Ели, как всегда, молча. После еды Корнеев вытянулся на нарах и сказал:

– Лыжню трудно спрятать. Летом проще ходить. Гнуса только много. Летом можно и сорок отмахать. А ещё лучше – по речке.

Судя по всему, он опять был в разговорчивом настроении, и я решился задать вопрос, над которым думал весь день:

– Корнеев, а как же вы к ним ходите, в Тот Город? Вас же по лыжне очень просто выследить.

– Потому и не ходим зимой, – усмехнулся он. – Это с тобой я кренделя выделяваю да снега жду.

– Ну хорошо, положим, вы зимой не ходите. А они сами? Они же живут там, у них хозяйство, невозможно не наследить.

– Не знаю, – медленно сказал он. – Не был я там. Рядом был, рядом чисто было.

– А как это всё будет, Корнеев? – задал я свой главный вопрос. – Ну придём мы туда, на условленное место, выйдет их человек нас встречать, и что?

– Открытку ему покажешь. Про бабу эту расскажешь. Ежели поверят – пустят тебя. Не поверят – обратно пойдём.

– Почему вы им помогаете, Корнеев? – спросил я после паузы.

– Хорошим людям грех не помочь.

– Но почему именно вы? Почему из всей деревни они выбрали вас?

Он ответил не сразу, сел на нарах, потянулся, стащил свой толстенный свитер, аккуратно свернул его, положил в изголовье, снова лёг и сказал медленно и как-то неуверенно:

– На отшибе мы, на самой околице. И неболтливые, из баб только мать, а она любого мужика перемолчит, сам видел.

– На отшибе ещё три дома стоят, – возразил я. – И семья у вас побольше была, когда всё началось. Чего-то ты темнишь, Корнеев.

Конечно, я рисковал. Он мог осадить меня, мог просто разозлиться и замолчать. Но он ответил, после долгого молчания и неохотно:

– Неместные мы, батюры<sup>31</sup>, дед сюда от раскулачивания сбежал. Доносить не пойдём мы, человека за мешок муки продавать.

– Разве были такие?

– Полдеревни такие, – усмехнулся он. – Людям есть надо, детишек кормить.

– А вы? У деда твоего тоже дети были.

– Деда моего дети такого хлеба не стали бы есть.

Он сказал это негромко и даже не слишком выразительно, без осуждения, без презрения, но мне вдруг стало совершен-

---

<sup>31</sup> Батюры – самоназвание населения средней части бассейна реки Иньвы в Республике Коми.

но ясно, почему из всей деревни выбрали именно его деда.

– А мать твоя из местных?

– Мать моя и есть дедова дочка. А отец – соседа сын. Отцову семью раскулачивать пришли, а он к соседу убёг, к деду моему. Дед мой отчаянный был, долго не думал, что мог – взял, что не мог – бросил, да сюда сбежал.

– И не нашли его?

– Что здесь искать? Отсюда ссылать некуда.

– Вас тоже могли раскулачить?

– Шестьсот оленей стадо у деда было.

Шестьсот оленей. Если олень – это как автомобиль, то дед Корнеева был очень богатым человеком.

– А кто такие батюры, Корнеев?

– Из Кудымкара пришли, – буркнул он. – Всё, кончай языком чесать, завтра опять затемно выйдем.

Он закрыл глаза и отвернулся к стене. Я достал из рюкзака туристскую карту Коми, нашёл Кудымкар. Намного южнее и западнее. Картина постепенно складывалась у меня в голове, и чем чётче она становилась, тем тревожнее мне делалось, тем яснее я понимал, что взялся за дело, которое может оказаться мне совсем не по силам.

# Глава четвёртая

## Арест

### 1

В конце января, поздно вечером, когда Ося сидела на диване в старой Яникиной рубашке, от которой всё ещё немного пахло Яником и которую она надевала только тогда, когда становилось совсем невмоготу, в дверь постучали. Ося сняла рубашку, набросила платок, открыла дверь, готовая ко всему. За дверью стоял Коля Аржанов.

– Что ж ты, Ярмошевская, даже войти не приглашаешь, – сказал он, неловко усмехаясь, и Ося посторонилась, пропуская его в комнату.

– Чаем напоила бы, что ли, – попросил он, сев к столу. – Я и гостинец принёс.

Ося поправила занавеску между спальней и жилой половиной, взяла чайник, отправилась на кухню. Когда вернулась, Коля стоял у книжной полки, разглядывал книги. На столе на бумажке лежали три конфеты «Мишка косолапый».

– Книжки у тебя больно заумные, – сказал Коля, не оборачиваясь. – Ни к чему это. Не надо выделяться.

– Я не выделяюсь, – ответила Ося, ставя чайник на стол. –

Я читаю то, что мне интересно.

Он взял в руки увесистый том грабарёвской истории живописи<sup>32</sup>, полистал, сказал:

– Прошлым живёшь, Ярмошевская. А жить надо будущим. Вперёд надо смотреть.

Ося не ответила. Он поставил книгу на полку, присел к столу. Она налила чай, положила конфеты на блюдечко – материн сервиз с сахарницей и вазой для конфет давно был продан.

– Работаешь в артели, в комсомол так и не вступила, общественной жизнью не живёшь, – сказал Аржанов. – Пора тебе пересмотреть своё поведение.

Ося опять промолчала. До встречи с Яником оставалось пятьдесят девять месяцев, их надо было как-то прожить.

– Я тебе который раз говорю, Ярмошевская, иди к нам на Путиловский. У нас многотиражка заводская, художники нужны. А ежели ты чего боишься, я могу тебе пропуск устроить, походишь по цехам, посмотришь, какие отличные ребята у нас работают.

– Я подумаю, – чтобы отделаться от него, пообещала Ося.

– Подумаю, подумаю, – передразнил он. – Нечего тут думать, Ярмошевская. Времена нынче суровые, работать надо, а не думать. А то, сама знаешь...

Ося не ответила, он глянул быстро, искоса, и ей вдруг сде-

---

<sup>32</sup> «История русского искусства» – шеститомник под редакцией художника И. Э. Грабара, выпущенный в 1910–1916 годах издательством И. Н. Кнебеля.

лалось его жалко. Он был болен той же самой болезнью и так же, как она, не хотел вылечиваться. Или не мог.

– Я вам очень благодарна, Коля, за помощь и за сочувствие, – сказала она. – Но я не могу и не хочу себя переделывать. Я никогда не стану одной из ваших отличных ребят.

– Почему? – медленно спросил он.

– Не получится. Вот вы сказали, что я выделяюсь. А я не выделяюсь, я просто другая. Мне другое интересно, меня другое радует...

– Хочешь сказать, я тебе не пара, – всё так же медленно произнёс он.

– Ну что вы, скорее уж я вам не пара. Да и разговор этот бессмысленный, у меня есть муж.

– Сегодня есть, завтра нет, – сказал он, недобро усмехаясь. – Ты что, вправду веришь, что такого контри-ка, как твой так называемый муж, наши органы отпустят?

– Уходите, – тихо сказала Ося. – Пожалуйста.

– Дура, – сказал он, поднимаясь. – Какая же ты дура.

Хлопнула дверь. Ося даже не повернулась, всё сидела у стола и думала. Аржанов был уже комсоргом цеха, хвастался на кухне, что лично знаком с Косаревым, главным комсомольцем страны. Его можно было бы попросить разузнать про Яника. Но у такой просьбы есть цена, и эту цену она не готова была платить. Яник никогда бы ей этого не простил.

Пару дней спустя её поймала в коридоре соседка, затащи-

ла в тёмный угол, за огромный ящик-ледник, которым зимой никто не пользовался, спросила в самое ухо, так что Осе стало неприятно от горячего несвежего дыхания:

– Ты чего такое с Колькой сотворила, он третий день зверем смотрит, того и гляди зарычит.

– Ничего, – ответила Ося. – Он звал меня на Путиловский, а я отказалась, вот и всё.

– Родилась юродивой и помрёшь юродивой. Ты знаешь, чего он вчера по пьянке на кухне орал?

– Что?

– Что нечего буржуйским отребьям в одиночку такую комнату занимать, вот чего. Смотри, доиграешься.

Ося сказала соседке спасибо, вышла из угла, отправилась в свою артель. Все заработанные деньги она по-прежнему делила поровну: одну половину – на жизнь, вторую – под половицу под кроватью, ждать того дня, когда она сможет уехать к Янику. Если бы знать, где он, если бы ехать не куда-то, а к нему, она уехала бы немедленно, рассталась бы без сожаления и с комнатой, и с работой, и с этим прекрасным, холодным, некогда так любимым городом, и с непонятными его обитателями, днём – счастливыми и уверенными в светлом будущем, ночью – дрожащими от каждого стука в дверь. Но никто не мог сказать ей, где Яник, и ехать было некуда.

Через три месяца Осину артель закрыли. Утром, придя на работу, она увидела большой замок на двери, удивилась, по-



шла к хозяину, жившему в соседнем доме, во флигеле. Хозяйская квартира тоже была закрыта на замок, дворник проводил Осю очень внимательным взглядом, и Ося не стала его расспрашивать. Она отправилась к Лизе, художнице-миниатюристке, работавшей в артели за соседним столом. Лиза не позвала её в комнату, разговаривали в коридоре, что было странно: в артели они считались подругами. Ося спросила, что случилось, художница долго, внимательно на неё смотрела, потом предложила прогуляться. Ося послушно пошла следом. Лиза привела её в близлежащий скверик, присела на влажную скамейку, спросила, глядя Осе прямо в глаза:

– Скажи мне честно, это не ты? Я не сужу, просто хочу знать.

– Ты о чём? – не поняла Ося.

Художница ещё раз оглядела её с ног до головы, решила:

– Не может человек так притворяться. Значит, слухи.

– Какие слухи? – спросила Ося.

– Хозяина нашего посадили. И народ говорит, что посадил его твой любовник.

– У меня нет никакого любовника, – холодея, сказала Ося. – У меня есть муж, ты знаешь, где он.

– Значит, врут, – сказала Лиза. – Нынче все всех подозревают, не бери в голову. Нормальный человек в этот бред не поверит.

– Но ты же поверила.

– Если бы я поверила, я бы тут с тобой не сидела, – сказала

Лиза, вставая.

Ося вернулась домой, села на Яникин любимый стул, ужасно неудобный, неглубокий и жёсткий, но очень красивый, с высокой резной спинкой. Яник притащил его с помойки и сам отреставрировал, можно сказать, сделал заново. Она закрыла глаза, погладила стул. Гладкий лак под рукой казался тёплым, живым. Надо уезжать, Коля не оставит её в покое. Родных у неё нет, друзья-приятели растерялись после ареста Яника, теперь и работы нет. Ничто не держит её в Ленинграде.

И всё же уехать было трудно. Если вдруг каким-то чудом – бывают же чудеса – Яника отпустят, он вернётся сюда. И если её здесь не будет, он не сможет её найти. Но даже если чуда и не случится, эта комната полна Яником, здесь стоят и лежат его вещи, здесь он жил, работал, курил, ел с ней вместе за этим столом, спал на этой кровати.

Она прошла в спальную половину, достала из-под половицы деньги, пересчитала. Если жить очень экономно, можно растянуть на полгода. Что, в конце концов, может сделать ей Аржанов? Что вообще можно сделать одинокому безработному человеку? Предположим, он на неё донесёт, и её посадят. Ей дадут те же пять плюс пять и отправят в те же края. И кто знает, может быть, она встретит там Яника.

Нет, не будет она уезжать. Бояться ей не за кого, страдать из-за неё некому, пусть всё остаётся как есть. Она вернула деньги под половицу, выпила стакан воды и легла спать.

Следующие четыре месяца прошли в поисках работы. Куда бы она ни обращалась, какую бы работу ни искала – художника-оформителя, иллюстратора, учителя рисования, даже просто маляра – всегда всё шло по одному и тому же сценарию, словно все сидящие против неё люди заранее получили некий текст и просто зачитывали его в меру своих актёрских способностей. Она выкладывала работы, ей говорили, что они очень хорошие. Она рассказывала, что раньше трудилась в артели, но больше не хочет батрачить на частного, а хочет участвовать в государственном строительстве. Эта маленькая ложь давалась ей легко, собеседник понимающе кивал. Затем её посылали в отдел кадров, где предлагали заполнить длинную анкету. Она бездумно, привычно исписывала лист за листом, кадровичка или кадровик начинали читать. Слегка поднимали бровь на происхождении, но она писала в скобках, что отец и дед были врачами, и бровь опускалась; спрашивали про увольнение с Ломоносовской фабрики, Ося объясняла, что прогуляла по причине тяжёлой беременности; образование вопросов не вызывало, дальше шёл пункт о семейном положении – замужем, женщины кивали, мужчины равнодушно читали дальше, и тут всё обрывалось, резко и бесповоротно.

Следующим пунктом шло имя мужа, занятие мужа: художник-иллюстратор, и место его работы – в настоящее время безработный. Почему муж не работает, спрашивали кад-

ровик или кадровичка, всё ещё доброжелательно, всё ещё с интересом. Находится в местах заключения, отвечала Ося, глядя им прямо в глаза. Пятьдесят восьмая статья. Кто-то опускал глаза, кто-то не опускал, но вердикт всегда был один и тот же: «Для вас должности нет». Только раз, в одной из школ в Пушкине, симпатичная женщина чуть старше Оси, встав из-за стола и плотно прикрыв дверь, посоветовала:

– Да разведись ты с ним. Ему теперь всё равно, а тебе зачем жизнь портить. Разведись и приходи.

Ося поблагодарила за совет, встала и ушла.

В самом конце лета на толкучке, куда Ося пришла в поисках новых туфель взамен старых, стоптанных до дыр в подошвах, она встретила материну подругу, ту самую, что отказалась помочь Янику. Подруга продавала роскошную шапку из чернобурки и такой же воротник. Народ смотрел с интересом, пытался потрогать, но даже не приценивался. Ося подошла, поздоровалась. За прошедший год подруга превратилась из яркой, эффектной женщины среднего возраста в полную старуху. Она схватила Осю за рукав, сказала шёпотом, что очень, очень рада её видеть, что много о ней думала, заплакала, сначала тихо, потом всё громче и громче, с подвыванием. Ося взяла её под руку, увела в ближайший дворик, усадила на лавочку. Подруга достала платок, вытерла лицо, вздохнула, сказала уже спокойнее:

– Александра моего тоже посадили. Полгода назад. У Яна

уже был суд?

– Был.

– Пять плюс пять дали?

Ося кивнула.

– Это ещё повезло ему. Нынче больше дают. А то и вообще...

Она поёжилась, спросила быстро:

– Ты развелась?

Ося покачала головой.

– А я развелась. У меня сын студент, ему жизнь строить надо. Я развелась. Саши, может, и в живых нет, а сын должен институт закончить, ему профессия нормальная нужна. Что ты молчишь, осуждаешь?

Ося сказала, что не осуждает, а, наоборот, всё понимает.

– А твой малыш где?

Ося ответила, глядя в землю, что ребёнок умер при родах. Подруга поцокала сочувственно и вдруг снова заплакала, запричитала:

– Из-за тебя, из-за тебя всё. Бог меня наказал, что не помогла тебе тогда. Пока ты не пришла, всё хорошо было, а после...

Она встала со скамейки, рухнула грузно на колени, крикнула:

– Прости меня, Бога ради прости!

Ося испугалась, попыталась поднять её, подруга не вставала, всё елозила у Осиных ног, порывалась поцеловать ей

руку. В доме напротив со стуком открылось окно. Ося торопливо сказала, что всё прощает, что никакого зла не держит, что и прощать-то нечего, подруга не виновата, это такое время, страшное время. Подруга встала с колен, тяжело опустилась на скрипучую лавочку, повторила шёпотом:

– Страшное время.

Потом достала папироску, закурила, сказала, усмехаясь:

– Сын всё спрашивал, почему мы не можем быть такими, как все. А какие они, все? Они же тоже разные.

Отряхнула с коленей налипший песок и добавила:

– Отрёкся сын от нас. Через газету отрёкся, официально. Порвал с тёмным прошлым – так это сейчас называется. Имя, фамилию, всё поменял. Уехал, даже не знаю куда. Но это к лучшему, ведь правда? Это к лучшему, зачем ему такой груз.

Ещё немного помолчала, губы у неё снова задрожали, и она закончила шёпотом:

– Вот только с Сашей я зря развелась, получается.

Не зная, что сказать, Ося погладила её по руке, по плечу.

– Ты-то как живёшь? – спросила подруга. – Я остатки прежней роскоши продаю, а ты? Работаешь?

Ося сказала, что ищет работу. Подруга понимающе кивнула, задумчиво разглядывая Осю, потом встрепенулась, спросила, нет ли у неё одежды поприличнее: она может порекомендовать Осю в один дом, где нужна няня, но в таком виде туда лучше не ходить. Ося покачала головой. Подруга

цокнула языком, потащила Осю к себе домой, где выбросила на кровать из шкафа груду ярких, весёлых, словно из другой жизни, платьев, велела:

– Примерь.

Пока Ося примеряла, она кому-то звонила, говорила долго и на высоких тонах, потом вернулась в спальню, сказала довольноно:

– Всё, в понедельник к восьми утра велели прийти, адрес я тебе записала.

Ося поблагодарила, взяла адрес, свёрток с платьями. В дверях подруга остановила её:

– Ты не стыдись, что от меня помощь принимаешь. Я же вижу, не хочется тебе, ты думаешь, что Яна своего предаёшь, да? Не так всё. Александр всё равно бы ему не помог, никто бы уже не помог, это такой конвейер неостанавливаемый. А вот ты мне сейчас помогла. Не я тебе – ты мне. Ты мою душу спасла, пусть на немножечко, но спасла. Прощать тоже надо уметь, от сердца.

Она притянула Осю к себе, обняла, сказала со всхлипом:

– Не прощаешь. Милосердия в тебе нет. А в матери твоей было.

Вернувшись домой, Ося выстирала платья, выпила чаю с хлебом, легла в кровать и задумалась. Какое странное слово: милосердие. Почему она должна быть мила сердцем к тому, кто отвернулся от неё, кто предал её, не помог тогда, когда помощь была нужнее всего? Только потому, что предавшему

и самому стало плохо? Что и его предали?

– Нет, – сказал ей внутренний голос, с которым всё чаще и чаще беседовала она по ночам. – Потому что ей хуже. Ей больней.

– Нельзя измерить, кому больней, – возразила голосу Ося.

– Вот и не мерь, – ответил голос.



Утром в понедельник Ося отправилась на улицу Лаврова, бывшую Фурштатскую, в те края, где когда-то была и дедова квартира, дом её детства. Поднялась на второй этаж добротного, ухоженного дома, постучала в красивую дубовую дверь. Открыла пожилая женщина в накрахмаленном до жести фартуке.

– Мне к Татьяне Дмитриевне, – сказала Ося, – она меня ждёт.

Женщина провела её в большую светлую комнату, велела подождать и ушла, бесшумно ступая мягкими домашними туфлями. Слышно было, как она сказала кому-то: «Ждёт в библиотеке». Ося улыбнулась невольно тому, как тщательно все эти новые люди копируют старую жизнь.

В комнату вошла красивая женщина, элегантно одетая, с модной, волнами, причёской, поздоровалась и остановилась на пороге, разглядывая Осю. Ося смутилась, опустила глаза.

– Значит, вы и есть протеже Марго? – спросила женщина. – Насколько я понимаю, детей у вас нет, и с детьми вы никогда не работали?

Ося кивнула.

– Но вы внучка доктора Войцеховского?

Ося кивнула ещё раз.

– Говорите по-французски?

– Oui, madame.

Женщина обошла Осю кругом, сказала:

– Марго говорила, что вы художник.

– Иллюстратор, – уточнила Ося.

Женщина помолчала, достала из сумочки небольшой розовый листочек, прочитала, близоруко щурясь:

– Вы будете учить моего сына чтению, письму, счёту, французскому и рисованию. Вы будете гулять с ним дважды в день, следить, чтобы он вовремя вставал и вовремя ложился, регулярно ел. Платить я вам буду сто пятьдесят рублей в месяц. Учитывая, что вы будете жить на всём готовом, это приличная зарплата. Выходной у вас будет раз в неделю, по вторникам.

– Я должна буду жить у вас? – переспросила Ося.

– Конечно, – удивилась женщина. – Ребёнок встаёт рано, а вечером он очень трудно засыпает, вы должны быть рядом.

Может, и к лучшему, решила Ося. Исчезнуть из квартиры, с Колиных глаз долой, на полгода, год. Но как сохранить за собой комнату?

– Я боюсь потерять жильё, – сказала она женщине. – Я живу в коммунальной квартире, пустующая комната будет людей раздражать, пойдут разговоры, найдутся желающие.

– Я поговорю с мужем, – небрежно бросила женщина, – он всё уладит, только оставьте мне адрес. А теперь – в детскую.

Она вышла в коридор, прошла мимо трёх закрытых дверей, у четвертой остановилась, помедлила, прислушиваясь,

предупредила:

– Ребёнок очень нервный и впечатлительный, поэтому бывает капризным, вы должны с этим считаться.

Ося вошла в комнату. Нервный и впечатлительный ребёнок сидел на пушистом ковре, что-то строил из больших ярких деревянных кубиков. На вид ему было лет пять.

– Петя, это твоя учительница, Ольга Станиславовна, познакомься, – сказала мать.

– Не хочу в школу, – сказал ребёнок, не поднимая головы. – Не пойду в школу.

– Тебе и не надо ходить в школу, – быстро ответила мать. – Учительница будет заниматься с тобой дома. Она даже жить будет у нас.

– Не хочу, чтобы она жила у нас, – немного громче, но по-прежнему не глядя на мать, сказал мальчик. – Не люблю её.

Мать оглянулась беспомощно, Ося сказала:

– Вы идите, не беспокойтесь, я справлюсь.

Мать ушла, Ося подошла поближе, села на ковёр.

– Это мой ковёр, – сказал мальчик. – Не хочу, чтобы ты на нём сидела.

Ося послушно сползла на паркет.

– Не хочу, чтобы ты была в моей комнате. Уходи, – сказал ребёнок, глядя ей прямо в глаза совсем не детским, презрительно-вызывающим взглядом.

Ося встала, вышла в коридор, села на пол возле двери. Сначала за дверью было тихо, потом Ося услышала осторож-

ные шаги, громкое сопение, из-под двери вылез острый красный карандаш и заелозил влево-вправо, явно с целью что-нибудь, а лучше – кого-нибудь проткнуть. Ося забрала карандаш, достала из сумки вчерашнюю газету, оторвала квадратный кусок, сделала лодочку, на лодочке нарисовала смешного мышонка и просунула под дверь. Сопеть перестали, через некоторое время из-под двери вылез синий карандаш. Ося оторвала ещё кусок, нарисовала море, пароход, пару забавных зверушек в матросках, просунула обратно. Из-под двери вылез чистый белый лист.

– Знаешь, я гораздо лучше рисую, когда сижу за столом, а не на полу, – громко сказала Ося.

Дверь отворилась. Ося помедлила, ожидая подвоха, потом вошла. Ребёнок прятался за дверью.

– Я сажусь за стол рисовать настоящие джунгли, – сказала Ося, подошла к столу, нарочно шумно отодвинула стул, села, начала рисовать. Через минуту за спиной раздалось знакомое сопение.

– Садись, – не поворачиваясь, сказала Ося. – Я научу тебя рисовать львёнка.

Через неделю они уже были друзьями. Мальчик не был ни нервным, ни капризным, просто заброшенным и абсолютно одиноким среди множества взрослых, у которых не было на него ни времени, ни сил. Родителей Ося встречала редко – отец много работал, часто возвращался за полночь, мать то

принимала гостей у себя, бесконечно советуясь и ругаясь с кухаркой Анной Тимофеевной, то наряжалась и уезжала на приёмы, премьеры, примерки, большей частью в Ленинграде, но иногда и в Москве.

Жила Ося в крошечной комнатухе, смежной с детской. Анна Тимофеевна сказала, что там в прежние времена хранили дрова для детской. Осе было всё равно. До тех пор пока каждый вторник она могла приходить домой, вычёркивать ещё неделю, кутаться в Яникину рубашку, брать с полки хорошую книгу и убегать в другой мир, в чужие страсти и горести, – она могла жить. Иногда она бывала в Эрмитаже: приходила за час до закрытия, когда не было уже экскурсий, бродила по светлым тихим залам и думала, что это, наверное, и есть её дом, её страна, её Родина.

Летом они с Петей много гуляли, то в Летнем саду, то в Таврическом, то просто по набережной. Осень выдалась довольно дождливая, приходилось часто сидеть дома. В один из таких ненастных дней, когда они играли в челюскинцев на льдине, сделанной из старой простыни, и разглядывали в настоящий бинокль воображаемые самолёты, в детскую вошла мать, только что вернувшаяся из Москвы.

Ося вскочила, ожидая выговора за шум и беспорядок, но Татьяна Дмитриевна молча села на стул.

– Мама, ты нам мешаешь, – тут же закапризничал Петя.

Ося увела его в угол, дала ему атлас, пообещала, что про-

читает перед сном очень интересную историю, если он найдёт на карте страну, похожую на сапог.

– Он вас слушается, – не то спросила, не то утвердила Татьяна Дмитриевна.

– Он хороший мальчик, – искренне сказала Ося. – Просто ему вас не хватает.

– И потому он меня гонит, стоит мне зайти в детскую?

– Ну, конечно. Он и сердится на вас за то, что так мало им занимаетесь, и боится к вам привыкать – а вдруг вы опять куда-нибудь уедете?

– Откуда вы всё это знаете, у вас же нет детей?

Ося не нашлась, что ответить, пожала плечами. Мать посидела, помолчала, потом заговорила, глядя поверх Осиной головы, за окно, в серую струящуюся пелену:

– Вот вы меня осуждаете, не мотайте головой, осуждаете, я же вижу. А у меня брат второй год сидит в Лефортово. Я поэтому и езжу туда так часто, поэтому и глазки строю всей этой мрази. Он очень тонкий, нежный мальчик, он не выживет в лагере. А Петя под присмотром, он с вами.

– У меня муж сидит, – неожиданно для самой себя сказала Ося.

– Знаю. Иначе я не была бы так откровенна. Мне Марго всё про вас рассказала. Кстати, вы слышали про Марго?

– Что?

– Повесилась. Оставила записку: «Так проще».

– Когда? – с трудом собирая прыгающие губы, спросила

Ося.

– Недели две назад. Перед самым моим отъездом. Иногда я думаю, что она права, так проще.

Она помолчала, встала, сказала, не глядя на Осю:

– На будущий год Петя пойдёт в школу. Так решил муж, и я думаю, что он прав. Если вы согласитесь, я хочу вас оставить, ребёнок к вам очень привязан. Полдня, и без проживания.

Она отошла в угол, к сыну. Мальчик обнял мать за колени, спрятался в складках платья. Ося выскользнула в коридор, постояла немного, прислонясь к стенке. Она не могла, не имела права поступить как проще. Яник жив, и она должна его дождаться. Оставалось всего пятьдесят месяцев.

Зима прошла спокойно, а весной, в марте, Петя заболел коклюшем. Болел долго и тяжело, кашлял ночи напролёт. Ося сутками сидела с ним в детской, даже поесть не выходила. Кормила, читала, играла, уговаривала принять лекарство. Как-то вечером, когда он заснул, Ося поняла, что ничего не ела больше суток, и отправилась в кухню попросить у Анны Тимофеевны хоть хлеба с чаем. В коридоре неожиданно столкнулась с отцом Пети. За восемь месяцев работы она видела его всего второй раз. Он загородил ей дорогу, посмотрел внимательно, сказал, что жена ею очень довольна. Ося наклонила голову, он постоял ещё пару минут, спросил, не из поляков ли она.

– Можно так сказать, – ответила Ося, которая, хоть с Яником и не спорила, особой шляхетской гордости никогда не ощущала.

– Ваш муж находится в заключении? – спросил отец.

– В лагере.

– Он тоже художник?

– Да, – подтвердила Ося, не понимая, к чему он клонит.

– Спрячьте свои работы и уезжайте из города, – быстро, тихо и чётко произнёс он. – В самую глубокую глушь.

– Почему?

Он не ответил, пошёл дальше по коридору.

Петя выздоравливал, и в очередной вторник она смогла взять выходной. Купив фунт хлеба, она пришла домой, достала из висящей за окном авоськи бумажку с маргарином и уселась пить чай, оглядывая знакомую комнату пытливым сыщицким взглядом. Ничего не увидев и ничего не придумав, она встала, с досады стукнув кулаком большую изразцовую печь, делившую комнату на жилую и спальную половины. Похожие печи стояли в каждой комнате квартиры, но никто их не топил – центральный дымоход был давно и прочно забит. Один из жильцов свою печь разломал, за что ему крепко попало от домкома, и Яник принёс домой десятка два красивых глазурных изразцов, сказав, что к чему-нибудь их приспособит. Изразцы до сих пор лежали под кроватью – любую вещь, связанную с Яником, ей было трудно выкинуть.



Ося бросилась в спальню, вытащила изразцы, сосчитала, измерила линейкой. Выходило, что на один ряд хватит. Она побежала в библиотеку, просидела три часа, пытаясь понять, как укладывают изразцы, потом вернулась домой, перебрала инструменты в Яникином ящике, прикинула, где раздобыть материалы. Решила, что известь можно заменить гипсом, его продают в магазине Союза художников. Достав старый рогожный мешок из-под картошки, она набросила свою куцую шубейку и отправилась на поиски песка.

К ночи у неё было всё необходимое – песок, гипс, ведро, моток толстой проволоки, мастерок и кусачки. Работать ночью она не стала, чтоб не разбудить соседей. В следующий выходной она вернулась домой вечером в понедельник. Рано утром, как только соседи ушли на работу, подтащила к печке стол, поставила на него стул и принялась за дело.

Трудилась она весь день, не прерываясь, чтобы закончить самую шумную часть работы до возвращения соседей. К полуночи тайник был готов: широкое – на всю ширину печки – полое пространство высотой в один изразец, на самом вер-ху печи, почти под потолком. Ося постелила на дно тайника старую простыню, сложила на неё вынутые из рам холсты, придавила двумя большими папками с рисунками. Оставалось ещё сантиметра два, и она добавила папку своих рисунков, а в узкую щель сбоку засунула альбомчик *duodecimo*. Положив сверху ещё одну простынку, она закрыла тайник выкрашенной белой краской фанеркой. Глазомер её не под-

вёл: фанерка точно, враспор поместилась между изразцами. Ося присыпала крышку пылью и разбросала поверх сметённый с печки мусор – несколькодохлых тараканов, три каменных хлебных горбушки и обрывки старого конверта с ятями.

Тщательно вымыв пол, она отошла подальше и критически оглядела свою работу. Если смотреть снизу, последний ряд ничем не отличался. Если залезть наверх и вглядываться вплотную, можно заметить, что он сложен не так ровно, – но кто будет присматриваться? Она решила, что тайник достаточно хорош. Теперь надо было думать, как и куда уезжать. Ося достала атлас, открыла на странице с полной картой Российской империи, зажмурилась, покрутила в воздухе пальцем и ткнула в карту. Открыла глаза и засмеялась – палец упёрся в Финский залив. Она напилась чаю и отправилась на Фурштатскую.

В размышлениях о том, куда ехать, что с собой брать, как сделать так, чтобы Яник её нашёл, прошли ещё два месяца. Уезжать Ося решила летом: проще с одеждой, проще с едой, проще найти ночлег или подработать. К лету она заработает ещё немного денег, летом Петя уедет с матерью на дачу. Он любит дачу, расставание не будет таким болезненным. Летом легче путешествовать, легче проскочить зайцем, легче спрятаться. Так она уговаривала себя, но упрямый внутренний голос не желал слушать логических рассуждений, а просто повторял: «Беги, пока не поздно».

В непрерывных спорах с самой собой она дожила до конца весны, попрощалась с Петей и Татьяной Дмитриевной, продала букинисту книги и альбомы, собрала старый Яникин чемодан, обвязав его для надёжности верёвкой, купила билет до Свердловска, села на стул посреди пустой комнаты и начала прощаться – с детством, с юностью, с матерью, с Яником, с картинами, со всем, что дорого ей было в жизни и что уходило, исчезало, таяло, оставляя после себя незаполняемую пустоту.

Кто-то постучал в дверь – властно, резко. Ося не испугалась, не удивилась, не расстроилась – просто встала со стула и открыла дверь, осознав, наконец, то, что всегда подсознательно ощущала: уехать ей не суждено.

В комнату вошли пятеро: дворник дядя Костя, оперуполномоченный в военной форме и ярко-синей фуражке с красным околышем, два милиционера, один совсем молоденький, видимо, стажёр, другой постарше, и Коля Аржанов. Запахло кожей, табаком и гуталином, и Ося подумала, что именно так и должна пахнуть беда – гуталином, табаком и кожей.

Военный поздоровался, спросил:

– Гражданка Ярмошевская Ольга Станиславовна? Ознакомьтесь с ордером на арест и обыск.

Ося взяла протянутую бумагу, начала читать, медленно складывая буквы в ничего не значащие, ускользающие слова. Милиционеры ходили по комнате, громко скрипя сапогами.

– Уезжать собрались, гражданка? – спросил военный, указывая на чемодан.

– Нет, просто была готова, – ответила Ося.

– К чему готова? – не понял военный.

– К вашему визиту.

– Значит, ощущаете за собой вину?

– Не больше, чем любой другой жилец этой квартиры, – сказала Ося. Теперь, когда худшее уже случилось, она наслаждалась этой давно забытой свободой от страха. – Не больше, чем любой другой житель этого города. У нас же у всех узелки под кроватью на всякий случай. А у меня вот – чемодан.

– Напрасно вы так, гражданка Ярмошевская, – заметил

военный. — Невинным бояться нечего, органы разберутся. Мы арестовываем только с санкции прокурора, не нарушая законов Сталинской конституции.

— Если человек вас боится, значит, он виновен? — спросила Ося.

Военный крикнул, но отвечать не стал, подошёл к комоду, начал открывать один за другим пустые ящики. Коля, понурившись, стоял у двери, дядя Костя присел на корточки рядом. Милиционеры ушли на спальную половину, слышно было, как они двигают кровать и хлопают дверью шкафа. Потом оттуда полетел пух, видимо, порвали подушку. Минут через пятнадцать они вернулись. Тот, что постарше, отпартовал:

— Пусто, товарищ оперуполномоченный, как прямо и не жила тут.

— Чемодан, — приказал военный.

Возиться с верёвкой милиционеры не стали, разрезали её Осиным кухонным ножом, открыли чемодан, вывалили содержимое на пол. Яникин карандашный автопортрет, лежавший на самом дне, отлетел к двери. Коля быстро нагнулся, поднял его, положил на стол. Военный глянул на рисунок без особого интереса, прошёлся по комнате. Милиционер постарше пытался открыть печную заслонку; заслонка, ни разу за двадцать лет не открывавшаяся, не поддавалась. Дядя Костя шумно вздохнул, утёр лоб рукавом. Ося устала стоять, села на Яникин стул, погладила его незаметно.

Милиционеры начали простукивать мебель, попытались отвинтить ножки у стола, вытащили из угла буржуйку, долго вертели и трясли её. Военный велел посмотреть на печи, они подтащили стол, поставили на него стул. Ося замерла, сердце заколотилось так, что она удивилась, почему военный не смотрит на неё с подозрением. Милиционер, что помоложе, забрался на стул, пошарил рукой по печному верху, ухватил что-то, вытащил, посмотрел и тут же бросил, кубарем скатился со стула. Ося глянула на пол, там валялся огромныйдохлый таракан. Она не удержалась, хихикнула, милиционер глянул зверем, сказал: «Виноват, товарищ оперуполномоченный, не люблю я их, уж больно они противные».

Военный забрал у Оси стул, сел и начал составлять протокол. Милиционер пнул таракана, тот отлетел на спальную половину.

Исписав три листа ровным чётким почерком, военный протянул их Осе. Она подписала, не читая, передала понятым. Дядя Костя присел к столу и медленно, старательно, по-детски высунув язык, нацарапал свою подпись. Коля подписал стоя, не глядя, руки у него дрожали так сильно, что в чернильницу он попал только с третьего раза.

Военный потрогал чемодан носком блестящего сапога, сказал, не глядя на Осю:

– Можете взять немного еды, пару смен белья, одеяло, подушку, мыло, зубную щётку. Деньги – пятьсот рублей. Сложите в мешок или узел, чемодан с окантовкой не разреша-

ется.

– Могу я взять карандаши и бумагу? – спросила Ося. – Я художник, они мне необходимы.

– Точно, – засмеялся милиционер, тот, что боялся тараканов. – Ты карандаши возьми, а сапожник – шило с дратвой.

Дядя Костя вздохнул ещё раз. Ося собрала с пола немудрёные свои пожитки, разложила их на большом платке, увязала в аккуратный узел. Оперуполномоченный открыл дверь, вышел первым, за ним милиционеры вытолкнули Осю. Последними вышли дядя Костя и Коля. Ося привычно потянулась закрыть дверь, милиционер толкнул её в бок, захлопнул дверь сам. В темноте и тесноте коридора кто-то схватил её за руку, что-то вложил в ладонь, закрыл её кулак и беззвучно отступил в сторону. Военный распахнул входную дверь, стало светлее, Ося глянула туда, откуда тянули за руку. Коля Аржанов, мертвенно, неестественно бледный, так что было заметно даже в темноте коридора, стоял, вжавшись в стену, смотрел вверх Оси на широкую спину оперуполномоченного.

Вышли на улицу. Чёрная эмка-воронок выехала из-за угла, военный сел впереди, Осю усадили сзади, милиционеры сели по обе стороны от неё. Машина тронулась с места, проехала минут десять и остановилась, громко взвизгнув тормозами. Боковые окна у эмки были закрашены, Ося поглядела вперёд, в узкий просвет между шофёром и оперуполномоченным – машина стояла у гастронома. Она глянула на

часы – восемь вечера. Военный вышел, скрылся в магазине. Один из Осиных конвоиров вылез из машины, встал у двери, опёрся спиной о машину, закурил. Второй вдохнул едкий табачный запах, поглядел на Осю, повертел в руках пачку «Беломора» и тоже вылез. Шофёр дремал, положив голову на руль. В машине было сумрачно, милиционеры стояли к ней спиной, и Ося решила: не поднимая рук, развернула зажатую в кулаке бумажную трубочку, громко чихнула и поднесла руки к лицу, словно утираясь. С мятого бумажного листка, едва различимый в тусклом свете, на неё глядел Яник.

Военный провёл в магазине с четверть часа. Милиционеры курили, водитель дремал, а Ося думала с таким напряжением, с таким усилием мысли, как ещё ни разу в жизни не думала. Нужно было понять, куда спрятать портрет. Военный вернулся, прижимая к груди большой бумажный пакет. В машине вкусно запахло свежим хлебом и малосольными огурцами.

Воронок тронулся, покатился, трясаясь, по щербатой мостовой. Ося всё думала. Через полчаса затормозили, снаружи послышался тяжёлый металлический лязг, потом скрип – видимо, открывали ворота. Машина проехала метров сто и остановилась окончательно.

Пока конвоиры выбирались из воронка, медленно-неуклюжие в своих мундирах, портупях и сапогах, Ося лихорадочно развязывала узелок. Выйдя из машины, она споткну-



лась, совершенно естественно, упала, и узелок рассыпался. Ося присела, начала подбирать вещи. Военный и милиционер постарше вошли в здание, молоденький ждал Осю, отстукивая сапогом нетерпеливый раздражённый ритм. Она оглядела украдкой огромный квадратный двор со странной, почти детской беседкой в центре, ровные ряды зарешеченных окон, вдохнула йодистый, влажный запах моря, представила, как Яник стоял в этом дворе два года назад.

– Шевелись давай, – прикрикнул милиционер, – сколько мне тут торчать?!

Ося присела на корточки к нему спиной, развернула газетный кулёчек с сахаром, переложила сахар на лист с портретом и завернула снова. Из газеты она сделала аккуратный маленький квадратик, запихнула его в туфлю, завязала узелок и встала.

Милиционер привёл её по короткой лестнице в грязную прокуренную комнату, разделённую низкой перегородкой, расписался в толстой книге и ушёл. Сидящий у окна мужчина в синей форме НКВД глянул на неё лениво-равнодушно, велел заполнить анкету и снова отвернулся к окну. Ося села на колченогий стул у большого обшарпанного стола, обмакнула ручку в чернильницу, начала терпеливо записывать привычные, десятки раз писанные ответы на знакомые скучные вопросы. Фамилия – Ярмошевская, возраст – двадцать семь лет, происхождение – из служащих, в Красной армии не служила, в старой армии не служила тоже. Ранее не суди-

ма, арестована впервые, из близких родственников имеется только муж, Тарновский Я. В., осуждён по статье 58, п. 7, 8, 11, 17.

Слёзы вдруг полились сами собой, она даже не сразу поняла, что плачет, только когда увидела, как большая капля плюхнулась прямо на слово «Тарновский» и начала медленно расползаться во все стороны, таща за собой фиолетовые разводы.

– Долго возитесь, гражданка, – добродушно пожурил её дежурный. – Тут думать нечего, правду надо писать и всё. И плакать нечего, органы разберутся, что...

Ося подняла на него глаза, он осёкся, замолчал на полуслове, неразборчиво пробормотал под нос что-то угрожающее. Ося опустила глаза, облизала солёные губы и поклялась себе матерью, Яником, мёртвым своим малышом, что никогда больше эти люди не увидят её плачущей.

Заполнив анкету до конца, Ося протянула её дежурному, он кивком указал на длинную скамью у стены. На этой скамье Ося просидела часа три, то задрёмывая, то просыпаясь и не понимая, для чего её так торопили. В полночь пришёл солдат, забрал у энкавэдэшника бумажку, велел ей встать и приказал коротко:

– Прямо.

Она послушно пошла узким коридором прямо, потом направо, потом вниз и снова направо. Солдат привёл её в большую комнату без окон, но с множеством лампочек, светящих

раздражающе ярким светом. В центре комнаты стоял длинный, обитый жёстью стол. Возле стола курила, часто затягиваясь, невысокая полная женщина в кумачовом платке. Конвоир отдал ей бумажку и вышел, она придавила окурок об стол, велела, не глядя на Осю:

– Вещи на стол. Раздеваться догола.

Высыпав содержимое Осиного узла на стол, она принялась разглядывать одежду, прощупывать швы, разворачивать свёртки, молча, быстро и ловко. Сахар она тоже развернула, глянула на рисунок, подняла лист, посмотрела на про-свет, спросила:

– Кто?

Ося бросила на женщину осторожный взгляд, не зная, как отвечать, как спасти портрет. Женщина нетерпеливо дёрнула головой, и Ося решилась, ответила так же коротко:

– Муж.

– Рисовал кто?

– Он сам.

Женщина подняла голову, посмотрела внимательно на полураздетую Осю, ещё раз глянула на портрет, усмехнулась, взяла пару Осиных носков, высыпала сахар в один носок, завернула во второй. Портрет она разгладила ладонью, сложила пополам и ещё раз пополам и бросила в кучу просмотренных вещей.

– Спасибо, – едва слышно сказала Ося.

Женщина прикрикнула:

– Раздевайся давай, некогда мне тут с тобой.

Ося разделась, сложила вещи ровной стопкой. В длинных тюремных очередях она немало наслушалась про эту неизбежную процедуру под странным названием «шмон» и думала, что готова. Но когда чужие руки с равнодушным бесстыдством начали шарить по её телу, тошнота подступила к горлу так внезапно, что Ося едва успела прикрыть рот рукой.

– Параша в углу, – отскочив, буркнула женщина.

Ося метнулась в угол, надзирательница отошла к столу, спросила:

– Беременная, что ли?

Не в силах говорить, Ося покачала головой. Надзирательница велела ей одеваться и вышла из комнаты, неслышно ступая мягкими войлочными туфлями, унося с собой Осин нательный крестик и часы – подарок Яника на годовщину свадьбы.

После шмона молоденький конопатый конвоир вновь повёл её узкими бесконечными коридорами вверх, вниз, налево, направо. Шли медленно, потому что и шнурки от туфель, и пояс от юбки надзирательница тоже забрала. Выйдя на большую асфальтированную площадку, Осе показалось – во двор, конвойный остановился. Ося подняла голову: справа темнела высокая сплошная стена, слева этажами уходили вверх галереи, соединённые железными лестницами. Вдоль галерей по всем этажам бесконечными рядами шли

узкие железные двери, постепенно сливаясь с темнотой. Было очень тихо, и в этой тишине особенно пронзительным показался женский крик.

– Митенька! – крикнула женщина где-то совсем близко. – Митенька! – И снова стало мертвенно, неестественно тихо.

– Та це вона уві сні, – успокаивающе прошептал конвоир, – дитину гукає<sup>33</sup>.

Неслышно ступая, появился надзиратель, расписался на листе бумаги, протянутом конвойным, пальцем поманил Осю за собой, показал на лестницу. Она вскарабкалась на галерею, надзиратель поднялся следом, загремел ключами. Открыв узкую, утопленную в стене дверь, он втолкнул Осю внутрь. Чтобы не упасть, она ухватила рукой за влажную, липкую стену и тут же отдёрнула руку. За её спиной захлопнулась дверь, и ключ трижды повернулся в замке.

---

<sup>33</sup> Это она во сне, ребёнка зовёт (укр.).

## Четвёртая интерлюдия

Снег шёл три дня не переставая. Корнеев поднимал меня чуть свет и всё время подгонял, хотел пройти как можно больше, пока не кончился снегопад. За день мы делали три короткие передышки по четверть часа, до зимовья добирались уже в темноте, от усталости я едва мог отстегнуть лыжи. Несколько раз я видел белок, а во время одной передышки лось подошёл к нам совсем близко, остановился за кустами метрах в трёх, внимательно посмотрел и двинулся дальше, величаво покачивая своей короной. Пару раз нам встречались медвежьи следы, каждый раз Корнеев присаживался на корточки и долго их рассматривал.

К вечеру шестого дня он опять умчался вперёд. Лыжня шла под откос, в ложбину, лыжи катились сами собой, я даже притормаживал немного. Солнце тускнело, опускалось в дырявые облака на горизонте, золотисто-розовые лучи едва просвечивали сквозь облачное кружево, таяли, растворялись. Вот последний луч полоснул горизонт, точно разрезал, – и исчез. Лес, только что голубой и розовый, сказочный, сделался серым и тусклым. Большая птица пролетела очень близко, так близко, что я почувствовал щекой движение воздуха под её крыльями. Едва различимый в сумерках, порскнул из-под лыж какой-то зверёк, подняв снежный фонтан. Тайга больше не боялась меня, и я всё меньше боялся её.

Лыжня вывела на небольшую полянку. На краю её стояла огромная старая ель, тяжёлые раскидистые еловые лапы шатром опускались до самой земли. Возле ели, спиной ко мне, опираясь на палки, стоял Корнеев, медленно водил головой из стороны в сторону, приглядывался, принюхивался, напоминая породистую охотничью собаку.

– Здесь спать будем. Печеру нароем, – сказал он, не оборачиваясь.

– Где – здесь? – не понял я.

– Прямо здесь. Говорю тебе – печеру нароем.

Зимней ночью в тайге, по которой ходят медведи, в минус двадцать – он хочет спать в снежной пещере.

– Ты так уже делал? – спросил я со слабой надеждой, что он пошутил или я не понял.

– Снимай лыжи, копать будем, – приказал Корнеев.

То лыжами, то мисками мы копали час с лишним, пока не выкопали под елью яму метра два в ширину и метра полтора в глубину. Из выкопанного снега Корнеев соорудил вокруг ямы бортик, пропустил внутрь меня, залез сам и залепил снегом проход в бортике. Костёр развести он не разрешил, достал из рюкзака два здоровых куса зайчатины – остатки нашего вчерашнего ужина, – сел на рюкзак, протянул мне один. Пожевав холодного мяса, мы сделали по паре глотков из фляги с чаем и по паре – из другой фляги. Я хотел нарубить лапника, постелить на дно ямы, Корнеев опять не разрешил, расстелил спальник прямо на снегу.

Я спросил почему, он не ответил. Я разозлился. Вот уже шесть дней мы шли вместе, ели вместе, спали вместе, и всё равно до конца он мне не доверял. Наверное, он был прав, но обида не делалась от этого меньше. Я достал свой спальник, постелил рядом – отодвигаться было некуда – и тоже лёг.

– Хорош злиться, – сказал Корнеев прямо над моим ухом. – Тайга злых не любит.

– А я не люблю, когда меня на поводке водят, – огрызнулся я.

– Потеряешься без поводка-то, – усмехнулся Корнеев.

Я промолчал, он посопел и добавил:

– Близко мы очень. Вот и сторожимся. Нельзя по-другому.

– Как близко? – мгновенно забыв про все обиды, спросил я.

– Почитай дошли. Ждать теперь надо, пока оттудова человек придёт.

– А когда он придёт?

– Может, завтра, может, послезавтра. Три дня не придёт – не хотят тебя, значит.

– И что тогда?

– Обратно покатим.

– Но как они узнают, что мы здесь?

– Узнают.

– И как они поймут, хотят они меня или нет? Для этого надо со мной поговорить.

– Почём я знаю, – зевнул Корнеев. – Может, поговорят. А



то издаля посмотрят, глянешься ты им или не глянешься.

— Но я должен им всё объяснить. Я не могу вернуться просто так. У меня есть открытка, я могу показать открытку. И фотографию.

— Терпежу у тебя нисколько нет, чемпион, — сказал Корнеев. — Всё тебе сразу вынь да положь, а без терпежу ничего не бывает. Спи давай, чего гадать.

Через пять минут он уже храпел. Я никак не мог уснуть, сначала просто представлял себе завтрашнюю встречу, потом принялся сочинять убедительную речь. Заснул я только под утро, вытвердив наизусть шесть отшлифованных до идеальной гладкости предложений.

Когда я проснулся, Корнеева в пещере не было. Я натянул валенки и выполз наверх, в ёлочный шатёр. Корнеев сидел на поваленном дереве в десяти шагах от меня, напротив него стоял незнакомый человек. Корнеев что-то рассказывал ему, мужчина внимательно слушал, кивая головой. Меня мужчина заметил сразу, разглядел меж густых еловых веток, сделал приветственный жест рукой. Корнеев остановился на полуслове, повернулся, оба смотрели на меня выжидающе.

Я выбрался из-под ели, подошёл, ступая по глубоким корнеевским следам, представился. Мужчина пожал мне руку, но имени не назвал. Выглядел он лет на шестьдесят, толстые стёганные штаны были аккуратно залатаны на коленке, на старом полушубке просвечивали проплешины, заячий треух с опущенными ушами пожелтел от долгой носки. Винтовка с

коротким, видимо, обрезанным стволом болталась у него на боку, из высоких, мехом наружу, унтов торчала рукоятка ножа. К унтам крепились странные конструкции, похожие на теннисные ракетки с удлинённой головкой и короткой ручкой. Заметив, что я на них уставился, он улыбнулся и сказал: «Снегоступы».

Несколько минут мы все молчали, мужчина разглядывал меня, я пытался поймать его взгляд, не решаясь заговорить первым. Придуманная речь больше не казалась мне ни блестящей, ни даже просто убедительной.

– Володя говорил, что у вас есть какая-то открытка? – спросил мужчина.

Я полез за пазуху, достал полиэтиленовый пакет, вынул оттуда конверт с открыткой, протянул ему. Он снял рукавицы, бросил их на снег, осторожно, двумя пальцами взял конверт, достал оттуда открытку, долго разглядывал рисунок, потом перевернул открытку и так же долго читал её короткий, в три предложения, текст. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным, и я не решался заговорить, боялся, что одно неосторожное слово может всё испортить.

– Володя упоминал ещё и фотографию, – сказал мужчина.

Я достал другой полиэтиленовый пакет, вынул оттуда конверт с двумя Осиными фотографиями, одна – тридцатипятилетней давности, другую я сделал перед самым отъездом. Фотографии мужчина разглядывал ещё дольше, по-прежнему бесстрастно и молча, только лёгкая тень пробежала по его

лицу, мелькнула и тут же исчезла.

Так и не сказав ни слова, он вернул мне оба конверта, что-то негромко бросил Корнееву, мне показалось – не по-русски, развернулся и зашагал через полянку, неожиданно быстрый на своих снегоступах. Я рванулся следом, провалился в снег почти по пояс. Корнеев, не слезая с дерева, протянул руку, ухватил меня за воротник, подтащил к себе.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.